

Живой роскошный ад

Автор:

Джон Хорнор Джейкобс

Живой роскошный ад

Джон Хорнор Джейкобс

Мастера ужасов

«Морю снится, будто оно – небо»: Исабель бежит в Испанию из Латинской Америки от диктаторского режима. На новом месте она знакомится с таким же иммигрантом, поэтом и переводчиком по имени Авенданьо. Но прошлое по-прежнему преследует обоих, и Авенданьо по непонятной причине возвращается на родину, где пропадает без следа. В его квартире Исабель находит два текста, над которыми работал поэт: воспоминания о пребывании в плену во время революции и перевод древнего оккультного трактата. На их страницах, пропитанных кровью и страданиями, постепенно разворачивается чудовищная картина того, что на самом деле произошло в стране, откуда с таким трудом вырвалась Исабель. И чем больше она их читает, тем сильнее растет в ней необъяснимое желание вернуться домой на свой страх и риск. Туда, где пробуждается нечто страшное, скрытое туманом и предрассудками, но, несомненно, живое.

«Пробило сердце горю час»: библиотекарь, работающий с каталогизацией фольклорных записей с юга США, неожиданно наталкивается на песню, которая, по легендам, сочинена самим дьяволом. И эта мелодия оказывает жуткое и зловещее влияние на реальность вокруг. Пытаясь снять с себя морок, главный герой хочет найти место, где была сделана запись. И этот путь приведет его к тайне, которую лучше бы не открывать простым смертным.

Джон Хорнор Джейкобс

Живой роскошный ад

(Сборник)

Морю снится, будто оно – небо

Между страниц

Когда-то давно знаменитыми были поэты

от слов их и целые страны горели огнём

В горах я бродил

И меж тенистых деревьев,

Алтари ночи, которых я коснулся,

Навечно останутся во мне.

Заприте меня под замок на тысячу лет —

Я не исчезну,

А буду вечно возрождаться,

испуская дым во тьме.

Я – эон, проснувшийся в человеке,

Я – тысяча дней, не знающих завтра.

Гильермо Бенедисьон.

Nuestra Guerra Celestial,

или Наша война в небесах

Во время пыток восприятие времени и закреплённость во временном континууме размываются... Фернандес исследует отношения между диссоциацией в пространстве, хронологическим опытом и субъективностью памяти, показывая не только как пытки деконструируют человечность жертв, подвергавшихся им при режиме Пиночета, но и как от этого уменьшается человечность палачей и – через них – государства...

Кристиана Рейес.

Реки несут кровь в море: государственное насилие в Чили и Махере

1

Малага, Испания

1987 г.

Выходца из Махеры я узнаю в любом городе мира. Насилие оставляет следы, всех нас ужас превратил в братьев и сестёр, в диаспору изгнанников, мечтающих о доме.

На улицах его называли «Око» по очевидным причинам – конечно же, из-за повязки на глазу, но также из-за беспокойной, настороженной манеры держать себя. Предвечерние часы он проводил в парке Уэлин, сидя в тени: на голове соломенная шляпа с широкими полями, с нижней губы свисает балийская сигарета. Из-за повязки на глазу он походил на ветерана: наверно, мы оба такими и были, хотя тогда я была гораздо моложе его. Я помню, он пах гвоздиками, а вокруг нас пахло морем – его мы не видели, но слышали шипение и ропот волн у набережной Пасео-Маритимо. Тогда я преподавала поэзию и литературное мастерство в Малагском университете, а по вечерам ездила на мотороллере в парк, чтобы подышать морским ветром, выпить в кафе, посмотреть на молодых женщин с бронзовым загаром, сияющих счастьем, – и забыть о Махере. О Педро Пабло Видале Кровожадном. О своей семье. Я была молода и очень бедна.

Он и я привыкли к виду друг друга. Оставаясь благосклонным, он всегда пребывал настороже, точно Полифем, наряженный в мятые льняные костюмы и пёстрые рубашки с манжетами, запачканными пеплом. Я же напоминала бледный призрак в очках и, несмотря на жару, ходила вся в чёрном – чёрные платье, блуза, шляпа, солнечные очки, чёрные волосы. Должно быть, имела склонность к мрачному.

Он и я неделями вели ритуал, который другие (но только не махерцы) называли бы брачной игрой: он подходил с газетой под мышкой, опустив лицо так, что на него падала тень, и садился за другим столом, не слишком близко и не слишком далеко, лицом непременно ко мне. Затем клал ногу на ногу и склонял голову так, чтобы здоровый глаз смотрел на меня. Этот человек даже закидывание ноги на ногу мог наполнить бесконечной, упадочной леностью и негой, а когда кивал мне, казалось, будто король приветствует соперника. Или брата – не так уж велика разница между тем и другим. Он казался очень знакомым: я не чувствовала, что мы встречались раньше, но будто видела его в театральной пьесе или по телевизору. Я решила заговорить с ним и удовлетворить своё любопытство.

Однажды так и случилось, но инициатива оказалась не моей. В тот раз он не стал смотреть на меня издалека, кивнув, а подошёл и сел за мой стол, ни словом не поприветствовав. Тут же заказал писко и рассердился, услышав извинения официантки, что писко нет. К тому моменту я так привыкла к его виду, что почти это ожидала – даже самый обыкновенный мужчина готов позволить себе миллион вольностей и грубостей, а Око совершенно точно не был обыкновенным. Я отложила книгу и обратила всё внимание на него.

– Тогда кофе и фернет, – раздражённо сказал он официантке, оповестившей, что кофе с писко выпить не получится, и снова обратил свой исключительный и одинокий взгляд на меня: – Сантаверде.

– Нет, – ответила я.

– Тогда Лас-Палас – определённо Лас-Палас.

– Нет.

Он нахмурился, и я хотела заговорить, но он цыкнул и продолжил:

– Консепсьон – или ничто и нигде.

– Нет, я из Коронады.

– Ага! – он воздел палец, точно изрекая тезис посреди философского салона. – Я почти угадал!

– С каждой догадкой вы всё дальше от цели.

– Как вы проницательны.

– Люди здесь зовут вас «Око» – знаете об этом?

– Имя не хуже любого другого, – пожал он плечами. – Хотите знать моё настоящее имя?

– «Око» мне чем-то нравится больше, – ответила я. Он засмеялся так, что я разглядела серебряные пломбы в задних рядах зубов, а, отсмеявшись, указал на мою одежду: – До сих пор носите траур?

Вопрос застал меня врасплох. Я посмотрела на себя, потом на него и начала говорить:

– Я не хотела казаться в трауре, но...

– Я шучу. Мы, махерцы, всегда будем в трауре. А вы у нас тот ещё книжный червь, – он протянул руку к обложке моей книги – «Прощай, Панама» Леона Фелипе. Сколько вас вижу, всегда смотрите то в одну книжку, то в другую.

Привыкнув к бестактным мужчинам и их замечаниям о моей «зубрёжке», я только пожала плечами:

– Я преподаю в университете.

– Что преподаёте?

– Поэзию. Современных писателей Южной Америки. Учю литературному мастерству первокурсников.

– Любите свою работу?

Единственный вопрос, которым Око мог бы повергнуть меня в большее смятение – «Есть ли у вас любовница», но этот вопрос ушёл недалеко. Я знала его (и то разве что в том смысле, что мы друг друга видели) слишком мало времени, чтобы вести настолько интимные разговоры.

– Работа есть работа, – ответила я. – Всем ведь приходится работать.

– Работа бывает разная. Она – туннель: какая-то ведёт внутрь, какая-то – наружу.

Странный выбор слов. Мне захотелось записать «туннель» и потом подумать, почему он выбрал именно это слово.

– Теперь моя очередь... – Я чуть не сказала «допрос», но остановилась: существовала немалая возможность, что это выражение вызовет плохие воспоминания. – Задавать вопросы, – неловко закончила я.

Он вынул балийскую сигарету, зажёл, и в воздух поднялись клубы дыма, пахнувшего гвоздиками. По улице ехали машины, шли люди – мама с ревущим ребёнком, влюблённые пары; летнее солнце зашло, и воздух остыл, но запах соли и моря никуда не делся. Скоро под фонарями появятся музыканты и танцовщицы в надежде на пару смешков и монет, брошенных пьяницами. Око, по-прежнему молча, сделал глоток фернета, потом глоток кофе, потом затянулся сигаретой.

– Что у вас с глазом? – спросила я.

– Он видел слишком многое, и я его выколол.

– Выкололи?

– Удалил.

- Вы шутите.

- Неужели похоже? Любите кино?

- Конечно, люблю, но деньги бывают нечасто.

- Хотите, сходим вместе? За мой счёт, - опрокинув бокал, Око заёрзал на сиденье, словно готовясь уходить. Неожиданный поворот беседы - возможно, дело было в том, как неожиданно и просто я призналась в своей бедности.

- Да, - сказала я.

Не то чтобы Око мне нравился, но он не нравился мне так, как может не нравиться дядя или двоюродный брат. Он был интересным - и таким знакомым.

Мы договорились о встрече, он допил кофе и даже гуцу, и встал со словами:

- Теперь всю ночь не усну.

Бросил на стол деньги, но в десять раз больше, чем был должен. Я сказала ему об этом, но он ответил:

- Возьмите, купите себе книжку - у меня денег хватает. Мне хочется тратиться на молоденьких девушек, так позвольте делать это так, чтобы за мной не пришли с вилами.

Мы договорились встретиться в этом же кафе на следующий вечер, в воскресенье, и всё утро я не могла избавиться от чувства, что видела этого человека где-то - не в Испании. Итак, мы встретились в «Кафе де Сото» и направились на Калье-Фригильяна - в те времена там было много маленьких кинотеатров и ночных клубов. Я хотела на «Закон желания» Альмодовара, но Око только фыркнул и потребовал дойти до «Синема-Ла-Плайя» - убогого местечка, где показывали только мексиканское кино, в основном ужасы и боевики про лучадоров[1 - Борцы луча либре - мексиканского стиля профессиональной борьбы.]. Он выбрал фильм «Veneno para las hadas», «Яд для фей», провёл меня в атриум и купил нам пива и попкорна. Фильм оказался несвязной историей о том, как две девочки открыли для себя колдовство и это

плохо кончилось. Око громогласно смеялся в самые неподходящие моменты, пугая меня, а когда одна девочка заперла другую в сарае и подожгла его, он заорал, будто осёл – я испугалась, что он сейчас поперхнётся.

После кино мы сели пить в «нашем» кафе.

– Ну, вам понравилось?

– Ужас, – ответила я. – Не понимаю, почему вам нравятся такие мрачные и кровавые фильмы? После всего, что мы перенесли?

Он устремил на меня пристальный взгляд – как ни странно, благодаря одному глазу тот казался ещё сильнее, чем был бы с двумя. Невзирая на это, я видела, что мой спутник в хорошем настроении, хотя не собирается извиняться за фильмы, которые предпочитает.

– Вы не знаете, через что я прошёл, – сказал он, – а я не знаю, через что прошли вы. За каждой и каждым, под их поверхностью, лежит бесконечность. В мире всегда будет несчастье – в этот самый момент где-то умирают бесчисленные дети, некоторые даже здесь, – он махнул рукой, указав на город вокруг. – Каждая ночь может стать последней.

Летний сад вокруг кафе покоился под навесом листвы, и мой спутник поднял на ветви отсутствующий, «далёкий взгляд», как пелось в песне Rolling Stones. Когда я училась в школе в Буэнос-Айресе, одна из моих девушек постоянно пела мне эту песню на корявом английском. Её звали Марсия Алаведес – давно уже не вспоминала о ней. Она была настоящим ходячим бедствием, но иногда я по ней скучала, как скучают по дорогим сердцу ошибкам – в основном по вечерам или в те моменты, когда хотелось прогнать из носа запах Малаги. Марсия часто вывозила меня на мотоцикле за город; мы долго носились вместе по аргентинским магистралям, и в такие моменты – когда я держала её руками за талию, прижавшись головой к крепкой спине, когда нас, словно кокон, окружал свист мотора и ветра – Марсия была по-настоящему чудесной. Но стоило мотоциклу остановиться, как она превращалась в ходячую катастрофу.

Око молча смотрел на деревья, будто ему открывалось нечто новое и не очень благоприятное.

– Несчастье – то, что гарантировано нам всем, – продолжал он. – Но на экране, под лучом проектора, оно такое крошечное. Как маленькие ведьмы! – он показал пальцами на столе, как те танцуют. – В следующий раз будем смотреть, как рестлеры сражаются с вампирами. Вот тогда вы, может быть, поймёте.

Мы пили, пока не начали шататься, а потом я попрощалась. В следующее воскресенье мы смотрели фильм про музыканта, который умел играть песню, убивающую вампиров; в следующее – про рестлера в маске, который сражался против голема; в следующее – про стадион, где жило привидение злобного лучадора; и так далее, и тому подобное, неделя за неделей. Око каждое воскресенье смеялся весь фильм. Мы привыкли друг к другу, и наши отношения – дружбой их назвать нельзя – продолжали развиваться. Между нами существовало нечто большее, чем дружба – мы были изгоями, нашедшими друг друга.

Однажды он забыл на столе кошелек, и только тогда я узнала его настоящее, крестильное имя. Взяла бумажник, открыла и вынула испанские водительские права.

Рафаэль Авенданьо.

2

Рафаэль Авенданьо – имя, известное каждому махерцу. Если Пабло Неруда – наиболее прославленный среди южноамериканских поэтов, то Авенданьо, сын фантастически богатых родителей, – наиболее ославленный. Однажды, узнав посреди коктейльной вечеринки, что жена изменяет ему, он ударил её ножом – правда, ножом для фруктов, и она, к несчастью для Авенданьо, выжила, забрала дочь и запретила отцу с ней видеться.

Это один из наиболее невинных случаев с его участием.

Авенданьо описывал шокирующие половые акты, французских проституток и индонезийских куртизанок; он много пил, курил марихуану и во всеуслышание воспевал кокаин, а также боксёров и искусственные идеалы маскулинности.

Среди его любимых американских писателей были Буковский и Мейлер, он ездил по Нью-Йорку и Парижу, вращался среди богемы и художников, красиво одевался и не выходил из новостей о светской жизни. Говорят, во время одного литературного мероприятия в Мехико он ввязался в драку с двумя критиками и как следует их избил, после чего те с такой же силой принялись преследовать поэта в суде. Авенданьо только посмеялся над мексиканским законом, а в интервью махерской газете «Ла-Сирена» поклялся никогда в ту страну не возвращаться, назвав всю Мексику «куском дерьма, застрявшим между анусом Америки и мандой Колумбии». Тогда президент Мексики Ордас объявил поэта врагом страны и издал закон, запрещающий Авенданьо возвращаться. На это Авенданьо ответил эссе на газетной передовице, в котором излил свой восторг по этому поводу.

Лично мне его произведения никогда не нравились: эгоистические стихи, полные мизогинии, либо описывали пьяные связи с женщинами, либо уходили в примитивнейший, мелкий, детский, надуманный экзистенциализм. Я сознательно исключила Авенданьо из программы своего курса и, выяснив, что он – Око, первым делом пришла в ужас, ведь он мог спросить меня, зачем я так сделала. Страх совершенно иррациональный, но победить его я не могла.

Авенданьо немало получил от Эстебана Павеса, низложенного президента нашей Махеры, прославившегося своей социалистической программой. Говорили, что в день переворота, совершённого Видалем и его хунтой, поэт вместе со своим другом добровольно ушли из жизни.

Вернувшись из туалета и взглянув на свой кошелёк, Авенданьо улыбнулся:

– Ты знаешь, кто я. По лицу вижу.

Он, как многие пожилые мужчины, во время мочеиспускания брызгал: в паху бежевого льняного костюма расплылось заметное тёмное пятно, но Авенданьо явно было всё равно. Он показался мне греком Зорбой, который в альтернативном мире стал художником и филологом. Громко заказав ещё писко, Авенданьо сел, совершенно довольный миром.

– Мне становилось трудно называть тебя просто «Око», – сказала я.

– Конечно, – кивнул он. – Но могла бы спросить, я бы сказал, – сменив позу, он зажёг бабийскую сигарету. – Кажется, в нашу первую ночь я предлагал тебе так и сделать.

Слова «наша первая ночь» прозвучали особенно неприлично теперь, когда я узнала о его прошлом.

– Да, предлагал, – ответила я. – Все думают, ты умер.

– Мир большой, – он пожал плечами. – Я не умер, и совершенно не притворялся мёртвым... Может, один раз, но то были чрезвычайные обстоятельства. – Поглядев на меня, Авенданьо продолжал: – Теперь ты смотришь на меня совсем иначе. Теперь я не милый глупый старичок, который платит за тебя, потому что сражён твоей красотой.

– Ты не сражён, и я не красива.

Он погрузился на миг и ответил:

– Верно.

Какая-то часть меня хотела, чтобы он сказал: «О нет, ты прекрасна!», но в реальной жизни так не бывает.

– Я плачу за тебя в кафе, потому что у тебя нет друзей. Потому что ты очень бедная, и юная, и из Махеры. Потому что моя доброта безгранична.

Почти от каждого его слова мне хотелось грязно выругаться вслух – или безумно захохотать. Тут мне пришла в голову мысль:

– Ты знал, кто я, когда мы ещё не подружились?

– Нет. Но после того как мы были на «Мире вампиров», я ходил в университет, поискал имя «Исабель Серта» и почитал, что ты пишешь. Мне очень понравилось, хотя, на мой вкус, немного суховато. Особенно хороша статья «Неруда-Прометей: новые поэты Южной Америки». Благодарю за упоминание, хотя, кажется, мой гений ты не оценила. Терпеть не могу академические статьи

со слишком претенциозными названиями. В общем... твоё здоровье, – Он взял бокал, но я отмахнулась:

– Не знаю, что думать. Обо всём этом, и о тебе.

Он снова пожал плечами – всё происходящее казалось рядом с ним таким легким. Авенданьо был стар, но на миг я поняла, чем в молодости он привлекал женщин.

– Так что на самом деле случилось с твоим глазом? – спросила я.

– Я его вырвал. Правда.

– Враньё.

– Нет, не враньё, а правда. – Он помолчал и подумал. – Протяни руки.

– Иди на фиг.

– Протяни, – он вытянул свои руки. Тыльные стороны ладоней покрывали рябые пятна. Я протянула руки, и он взял мои ладони в свои:

– Какой рукой ты бросаешь мяч?

– Правой.

– А когда стреляешь из ружья?

– У меня нет ружья.

– Но из пистолета-то стреляла? – его руки были тёплыми и сухими, как кожаный переплёт любимой книги.

– Нет, – я оглянулась на людей в кафе, будучи уверенной, что на нас всё смотрят. Никто не смотрел.

– Значит, из лука. Как Артемида.

– Правой.

– Ага, – ответил он. Его «ага» было просто выдохом, многозначительной паузой, не означающей ничего – только затягивание времени. Поэт думал, его одинокий глаз бегал в глазнице, внимательно рассматривая моё лицо.

– Однажды, быть может, твои глаза увидят слишком много. Или слишком мало.

– Чепуха. – Я отняла руки.

Он откинулся на спинку стула, смеясь, будто всё – просто шутка:

– Смотреть надо тем глазом, который хуже.

– У меня оба глаза хуже. Окулист в Коронаде сказал, у меня слабые глаза.

Авенданьо снова засмеялся влажным, густым смехом. Он часто утирал нос и глаза, и на пальцах у него оставались сгустки жёлтой слизи. В этом он был похож на моего дедушку; после определённого возраста мужчинам становится всё равно, какое впечатление их телесные выделения производят на остальных. Подобный эгоизм и подобная привилегированность всегда меня бесили, но сердиться на Око, каким бы безразличным нарциссом он ни был, я едва могла.

Когда поэт хотел, то мог казаться очень обаятельным, и я засмеялась вместе с ним. Он вынул из внутреннего кармана пиджака конверт и положил на стол:

– Мне придётся уехать. Позаботься кое о чём, пока меня нет.

Это меня застало врасплох. Око засмеялся и заказал ещё ликёра.

Я открыла конверт – внутри лежали ключ, листочек с адресом и чек из Банка Барселоны на сто тысяч песет – больше, чем я зарабатывала в университете за год. Положив всё это обратно в конверт, я отодвинула его на середину столика. В голове теснились вопросы, и речь за ними не успевала:

- Почему? Почему я? Куда ты? Что это за дерьмо?

- Деньги – тебе. Адрес и ключ – к моей квартире. Я не знаю, когда вернусь, и надолго вперёд распорядился, чтобы за моё жильё продолжали платить. В квартире – все мои книги и статьи. Их нужно организовать. Можешь оставить как есть, если пожелаешь, но если захочешь убраться или...

- Куда, твою мать... – я поняла, что повысила голос, нагнулась поближе, опершись о стол руками, и прошептала: – Куда, твою мать, ты собрался?

- А ты как думаешь? – он вынул из кармана рубашки листочек бумаги и бросил на стол. Я подняла его и развернула – на бумаге стояли цифры -19.5967, -70.2123 и женское имя, написанное карандашом: «Нивия».

- Что это? – спросила я, но уже знала ответ. Я с самого начала знала, куда он уезжает. Шифр передо мной был прост – широта и долгота.

Он возвращался в Махеру.

3

Он рассказал мне, что из Сантаверде пришло письмо: листок бумаги с именем его бывшей жены внизу. Ни письма, ни мольбы о помощи – только эти цифры. Око не знал, кто их прислал, и думал, в Махере вообще не знают, что он ещё жив, хотя скрывать это он никогда не пытался. С другой стороны, после свержения Павеса Авенданьо ничего не публиковал:

- Поэзию из меня выжгли. Для неё нужно два глаза.

- Тебе нельзя в Махеру. Тебя расстреляют. Теперь, когда Лос-Дьяблос не удалось убить Видаля, он совсем озверел. Тебя он не мог забыть.

- Я никогда не водил дружбы с марксистами.

– Зато водил с Павесом – и вспомни, что с ним случилось. Думаешь, там будут разбираться?

– Всё равно надо. Я стар, и мне нечего терять, – лоб Авенданьо нахмурился, точно бугристая равнина. По лицу скользили мысли, словно по поверхности тёмной, заросшей реки, под которой скрывается опасность. – Там моя дочь. Она сейчас была бы взрослой – может, ей и удалось вырасти. А я сбежал. Рано или поздно каждый изгнанник должен вернуться домой.

– Не каждый, – ответила я.

Мою мать посадили в тюрьму, когда мне было восемь. Она проводила собрания, сначала в нашем домике в Коронаде, потом в Сантаверде, когда мы переехали. У неё собиралось множество яростных молодых небритых мужчин с книгами и сигаретами. Однажды пришли солдаты и арестовали всех в доме. Прежде чем маму схватили, она успела закрыться в ванной и протолкнуть меня в окно, и я побежала в дом Пуэллы, нашей доброй соседки, которая часто поила меня молоком. Мама не вернулась, а отец пришёл истощённый, израненный с ног до головы и последующие годы медленно помирал от пьянства. Он пил от гнева, чувства вины и страха – страха, что его снова схватят и сделают с ним... что бы ни делали ANI, тайная полиция. Кажется, он решил умереть, когда я поступила в университет Буэнос-Айреса: неделю спустя после того, как я стала студенткой, отец высыпал горсть обезболивающих таблеток в бутылку с водкой.

Я бы никогда не вернулась – меня там ничего не держало.

Авенданьо мучительно вздохнул, точно на нём лежало огромное невидимое ярмо:

– В конечном итоге, существовало нечто, которое...

– Которое что?

– Не поддавалось пониманию. Во всяком случае, моим попыткам понимания.

Он толкнул конверт ко мне, я толкнула обратно:

– Что за координаты в письме?

– Место на побережье на севере страны. За Качопо.

– Ничто и нигде! – ответила я его же словами. Это было нашей игрой – один повторял другому то, что последний говорил когда-то раньше.

– Не ничто, – Авенданьо пожал плечами и снова толкнул конверт ко мне.

Я порылась в памяти: те места, даже на побережье, были голыми – голубая соль на западе, коричневые насыпи и крутые холмы на востоке. Там, в этой голой земле, пробурили немало шахт. Снова взглянув на Око, я попыталась проникнуть в него одной силой взгляда – в нём что-то изменилось, и вечное ленивое веселье развеялось. Легкость и высокомерие, точно узор из света ночью на стене спальни, сложились в настоящего человека, пронизанного болью, с мучительным прошлым. Слухи о себе Авенданьо просто превратил в плащ для себя. Да, он был пьяницей, бабником и хамом, но тогда, когда обладал двумя глазами.

– Возьми конверт, – сказал он. – Мне нужна твоя помощь.

– Не хочу, чтобы ты уезжал, – ответила я. Признаться в этом было трудно. Фильмы, прогулки в парке Уэлин, длинные разговоры о Махере, поэтах и смысле искусства – всем этим он наполнил ту часть моей жизни, о нехватке которой я и не догадывалась. – Кто же будет рассказывать мне про лучадоров и платить за меня в кафе?

Он улыбнулся, сжал мои руки в своих больших тёплых ладонях и вложил в них конверт.

Теперь я его не вернула, как это ни было трудно.

* * *

На следующий день Око улетел из Малаги в Барселону, оттуда – в Париж, оттуда – на запад, через Атлантический океан в Буэнос-Айрес. Как он сказал, он собирался арендовать джип и поехать из Аргентины в Махеру на нём: Авенданьо хотел навестить семью бывшей жены в Кордобе, а также избежать столкновения

с людьми Видаля в аэропорту Сантаверде. Я пожелала ему удачи и пообещала охранять его бумаги от воров – и на этом, как говорится, всё. Покончив с занятиями на следующий день, я направилась в квартиру Авенданьо.

Открыв дверь, я обнаружила в небольшой прихожей записку: «Здесь живёт кот – твой защитник. Корми его». Вместо подписи стоял примитивный рисунок глаза.

Меня встретила просторная трёхкомнатная квартира, до краёв, однако, загромождённая книгами и бумагами и снабжённая хорошо оснащённой кухней и ещё более хорошо оснащённым баром. Но первое, что бросалось в глаза в этом жилище – каждая поверхность была рабочей. На столе в столовой, словно три скалы посреди волн бумаг, лент, карандашей и блокнотов, стояли три пишущие машинки разных марок – «Ундервуд», «Оливетти» и «Ай-Би-Эм Селектрик», образуя некое беспорядочное единство. В каретке и из-под валика каждой машинки торчали незаконченные тексты. В «Ундервуде» – отрывок длинного верлибра на весьма неожиданную тему – то ли про молодую женщину, то ли про дряхлого старого кота. Трудно сказать. Мне это стихотворение понравилось больше, чем почти весь ранний Авенданьо. В «Оливетти» осталось письмо министру труда и социального обеспечения Махеры с вопросом, нет ли у министра или его агентов записей о Белле Авенданьо, которая также может быть известна как Исабелла Авенданьо или даже Исабелла Кампос – по-видимому, Кампос было девичьей фамилией его бывшей жены. Я не смогла не отметить, что у нас с его дочерью одинаковые имена. Печатный текст в «Селектрике» сопровождала пачка мятых фотографий, запечатлевших страницы латинского текста, озаглавленного, по-видимому, «Opusculus Noctis» и на первый взгляд очень мрачного. В католической юности и лилейной студенческой жизни я усердно изучала латынь и заметила, что в переводе Авенданьо немало ошибок, но сделан он хорошо – и дальше мне читать не захотелось.

Книг было много, но академические тома среди них встречались не так часто, как можно было бы ожидать от образованного человека его лет. Вкусы Ока склонялись больше к прозе, чем к поэзии, а триллеры и детективы он предпочитал более литературным историям. Бестселлеры стояли меж неизвестных романов, об авторах которых я никогда не слышала – Килгор Траут рядом с Аркимбольди, «El caos omega» («Уик-энд с Остерманом» на испанском) рядом с «Уходи медленно» Шеймуса Каллена на английском. Ещё много словарей – испанских, португальских и английских – и одна латинская грамматика, по-видимому, для попыток перевода. Одну из полок Авенданьо полностью отвёл под собственные поэтические сборники – все они оказались

весьма тонкими: «Зелёный берег» (La orilla verde), «О женщинах и их добродетелях» (Sobre las mujeres y sus virtudes), «Уасо и их плоть» (La carne de Hausos), «Голова, сердце, печень» (Cabeza, corazon, h?gado), «Безразличное правительство» (La indiferencia del gobierno), «Тёмные тучи над Сантаверде» (Nubes oscuras sobre Santaverde), «Чёрная Мапочо» (El Mapocho negro), «Призрак Писарро» (Fantasma de Pizzaro). Рядом стояло множество литературных журналов и поэтических сборников по итогам региональных и городских конкурсов: все они были разных размеров, так что при взгляде на их корешки показались мне беспорядочным снопом соломы.

Взяв «Безразличное правительство», я открыла на случайной странице:

«Мне снилось, с землёй было покончено: только зола да пепел. Выжил лишь один человек – он не любил собак: проходил мимо них на улицах, пинал в ответ на мольбу.

Теперь же его жена и ребёнок были мертвы, небо закрыли мрачные тучи, а на гнилой земле расцвели зловонные грибы. Человек пошёл по улицам и стал звать: „?Quinque! ?Quinque!“

Но собака не пришла – она умерла, когда человек был ребёнком».

Остальные стихи были в таком же духе, и я не стала читать дальше. Поэзия Авенданьо, прочитанная мной в студенческие годы, запомнилась более жизнерадостной: это же оказалось гораздо мрачнее, при всей поверхностности и дурном исполнении. Заметив за книгами жёлтые, загнутые страницы, я оттолкнула тома и достала рукопись, датированную 1979 годом – первое десятилетие его изгнания. Сняв с листков хрупкую резинку, я прочитала название: «Внизу, позади, под, между: история моих бедствий, пыток и преобразования. Рафаэль Авенданьо». Рукопись была тонкой – тридцать-сорок страниц. Я полистала загнутые от старости листы, но на первый взгляд она показалась слишком личной и интимной. Пустить его слова в свою голову – к такой близости я, пожалуй, не была готова: ещё не познакомившись с Авенданьо, я этим словам сопротивлялась.

Отложив рукопись, я продолжала исследовать квартиру Ока. С маленького балкона виднелся блеск берегов Альборана, и я испытала восторг, различив за ним, в тёмной дали, Северную Африку – Марокко! На воде мигали и плясали огоньки с кораблей, дул прохладный свежий ветерок. По моим подсчётам, квартплата Ока превышала мою как минимум в десять-пятнадцать раз, а одна только кухня была больше, чем вся моя скромная обитель.

Кухня и столовая выходили ещё на две комнаты. Одна из них, та, что содержала большую постель и множество подушек, была обставлена в стиле, который сам Авенданьо, по всей видимости, считал «мавританским». Гобелены, украшенные тканью-газом стены, свечи, светильники в форме слезинки, оттоманки, электрические лампы то в форме мечетей, то с извилистыми силуэтами, также задрапированные тканью... Без сомнения, нашего поэта очаровали легенды о Саладине и сэре Ричарде Бёртоне (не том, который актёр и муж Элизабет Тэйлор, а том, который сопровождал Джона Спика, первооткрывателя истоков Нила) и вдохновила идея занятий любовью среди благовоний, арабских геометрических узоров и дорогой плитки. Эта спальня полагалась мужчине на сорок лет моложе и так и кричала: я высокого мнения о собственном сексуальном мастерстве! Я стар, я потерял глаз, но я жив! По крайней мере, вот что я слышала.

Вторая спальня была уставлена коробками: книги, побрякушки, бумаги, старая одежда, тостер, радио и нечто, похожее на чёрно-белый телевизор. Коробки стояли на односпальной постели. Котов я нигде не видела.

Налив себе бренди из его бара, я села на одинокий стул на балконе и стала смотреть, как корабли втекают и вытекают из пристани Малаги. Око дал только одно указание: если хочешь, можешь расставить по местам книги. Но я не хотела, поэтому допила и пошла домой.

* * *

Вернулась я почти две недели спустя: мы встречались с ассистенткой преподавателя (только что закончившей университет в Мадриде) и после очередного свидания, когда она спросила, откуда у меня деньги на такой обед – вино, дары моря, чуррос с шоколадом! – я неохотно рассказала про Ока и наш с ним договор. Клаудия потребовала увидеть квартиру «знаменитого поэта», и после прогулки на пляже я её туда отвела.

Прямо за дверью меня ожидала стопка писем.

– Боже мой, – прошептала Клаудия, оглядываясь, и шагнула дальше. – Великолепно.

– Ты про книги? – переспросила я, перебирая конверты.

Ни одного счёта – только письма с различными далёкими марками: два из Америки, одно из Франции, два из Германии, три из Соединённого Королевства – и два из Махеры. Последние были адресованы Рафэ Даньо, что выглядело, пожалуй, разумно; впрочем, по тому, что я знала об Авенданьо, конспирация была неровной и односторонней: Око слишком горд, чтобы скрываться за псевдонимом. Меня охватило искушение открыть их и проникнуть в его частную жизнь, но присутствие в его квартире и так заставляло меня чувствовать себя взломщицей, хотя деньги, заплаченные вперёд именно за это, очевидно меня радовали. Иногда я кажусь себе ещё более нелогичной, чем мир вокруг.

– Иисус Мария! Матерь Божья! – театрально прошептала Клаудия. Я подняла глаза от писем, почти ожидая, что она будет рассматривать какую-нибудь редкую книгу или произведение древней порнографии. Но Клаудия открыла бар и достала бутылку текилы.

На следующее утро Око и его мировоззрение стали мне существенно понятнее.

Я проснулась в его постели рядом с Клаудией; голова раскалывалась. Постель оказалась отличной – даже прикасаться к простыням было наслаждением. Из моего нового положения марокканская плитка выглядела одновременно более и менее приятной на вид. Я встала и пошла искать кофе. Клаудия – которая этой ночью оказалась и страстной, и отзывчивой по очереди и одновременно, но большего выразить с какой-либо ясностью я не смогу, ибо мои воспоминания об этой ночи, хотя блестящи и полны удовольствия, остаются смутными и матовыми – и не пошевелилась.

Банку дешёвого кофе и кофеварку долго искать не пришлось; достав их из шкафа, я принялась варить. Голова так и трещала, а с бара на меня укоризненно смотрела наполовину опустошённая бутылка текилы. Я убрала её в бар. Найдя в холодильнике одинокое яйцо, а в окаймлённой инеем морозилке – дешёвые

пончики, я выложила их на кухонный стол, но поняла, что разогревать хлеб или делать яичницу не в силах.

Корчась от боли, я дождалась, пока кофе сварится, налила себе кружку, вернулась к холодильнику и понюхала сливки – казалось, они ещё достаточно свежие. Я на это надеялась. Налив в чашку сливок, пока кофе не приобрёл нужный цвет, я с трудом вышла на балкон и, пытаюсь справиться с противоречивыми чувствами восторга и страха от того, что Клаудия по-прежнему здесь и со мной, стала глядеть на море и тучи, угрожающе ползущие по небу.

Я почти чувствовала, как Око смеётся надо мной с другого конца земли. Пошёл дождь.

Прошёл час, пока я смотрела на море и дождь над ним и слушала слабый храп Клаудии. Наконец я оделась, нашла зонт и ушла. В продуктовом поблизости я купила масло, яйца, свежий хлеб, молоко, хамон, пасту, рис – словом, всего, ради чего стоит жить; на рынке – розмарин, тмин, чеснок, лук, салат, капусту, помидоры, креветки с усами-антеннами, сияющую макрель, а также перевязанные бечёвкой букеты крокусов и нарциссов.

Когда я вернулась в квартиру Авенданьо, Клаудия по-прежнему спала. Цветы я поставила в банки и кувшины, найденные в шкафах, а еду положила в холодильник. Под книжными шкафами обнаружили виниловые пластинки и проигрыватель для них: Око, по-видимому, предпочитал джаз и классическую музыку. Включив на низкой громкости волнующий альбом Шарля Трене, я принялась готовить завтрак.

Проснувшись, Клаудия робко меня поприветствовала; я уже понимала, что робость – едва ли часть её существа. Наконец она меня поцеловала, и мы отвлеклись, пока не стало понятно, что для этого будет сколько угодно времени. Наши желудки работали на своей волне.

Я подала Клаудии поджаренный хлеб с маслом, яйца с ветчиной и дольки помидора с базиликом и оливковым маслом, и она с энтузиазмом набросилась на еду. Слушая громогласное пение Трене, мы болтали про университет и про то, как трудно быть винтиками в огромной машине тривиума и квадравиума. Поскольку в этом я обладала большим опытом, чем она, я предложила Клаудии

несколько советов по навигации среди потоков преподавательского и административного состава; но что-то в ней напоминало мне об Оке. Клаудия оказалась настолько убеждена в собственной важности и собственных знаниях, что советовать ей что-либо оказалось невозможно. Я вздохнула – ну что ж, пусть сама разбирается.

Клаудия встала, налила себе ещё кофе и, взяв с личной полки Авенданьо один из его сборников, отошла от обеденного стола (я на скорую руку переставила пишмашинки и отодвинула бумаги, чтобы мы могли позавтракать) и села в потёртое и набитое до предела кресло рядом с проигрывателем. Я принялась просматривать бумаги Ока на столе, а она зажгла сигарету и стала листать тоненькую книгу, потом сказала:

– Он мне нравится! У него прямо-таки стояк на власть.

– Он славный старичок, но поэзия его меня не вдохновляет, – ответила я. Наши отношения начались слишком недавно, и ещё оставались хрупкими, поэтому мне не хотелось спорить, но лгать, чтобы угодить Клаудии, я тоже не собиралась. – Она такая мелкая. Такое впечатление, что половина стихотворений – оды его члену.

– Послушай, – Клаудия не обратила внимания на меня. В руках она держала «Тёмные тучи над Сантаверде». – Стихотворение называется «Мы под огромным небом». Вот как начинается: «Холодно. На тебе свитер. Смотрим, как облака плывут над бесплодной равниной – ржавой, безжизненной Атакамой. Все, кроме нас, её покинули. Я спрашиваю: Ты голодна? У нас есть ягнёнок. Нет, говоришь ты, трогаешь свой плоский живот, потом – свои волосы». По крайней мере, он умеет изображать подтекст, – Клаудия стала листать страницы.

Погасив сигарету, она встала и заглянула в холодильник:

– Ты купила томатный сок?

Этот вопрос меня кольнул. Она ни за что не сказала спасибо – ни за завтрак, ни за свидание, ни за занятия любовью. Не то чтобы мне нужны комплименты, но неблагодарность Клаудии была слишком велика. Я сказала:

– Думаю, тебе пора идти. Мне надо работать.

Она потрясённо обернулась ко мне, но я, не обращая внимания, взяла рукопись «Внизу, позади, под, между».

– Ладно, – сказала Клаудия, исчезла в спальне Ока и вышла уже с сумочкой и надевая серьги.

– Увидимся в университете, – с этими словами она бесцеремонно исчезла.

Я вздохнула, чувствуя, как с плеч свалилась огромная тяжесть. Да, Сартр был прав: ад – это другие. И так, я держала в руках тайную рукопись Авенданьо.

Открыв, я начала читать.

Авенданьо

В то время я спал со студенткой-активисткой – кажется, её звали Алехандра Льямос; впрочем, это было слишком давно: в данную конкретную дыру утекло, как говорится, слишком много воды. Подозреваю, я намеренно вытеснил все воспоминания о студентке и о наших с ней отношениях, да и был с ней не ради её имени. Её волосы, её силуэт в свете солнца и ламп я помню; её облик неясен, но вкус её кожи, остуженной холодным морским воздухом, до сих пор обжигает мой язык. Я помню вкус и ощущение её тела в 69-й позиции, слабо припоминаю её (скромные) груди, как припоминает мальчик груди его мамы из младенчества, припоминаю тембр её голоса, когда она повышала его в гневе. Она напоминала мне о Нивии, моей жене. Бывшей жене. Поэтому, наверно, я и обращался с ней так плохо. Был бы я не Авенданьо, а человеком моральным, я стыдился бы признаваться в этом, но что есть, то есть. Однако имя... уверен, её звали Алехандра Льямос. В любом случае, буду так её называть.

Не думайте обо мне плохо – сами всё увидите.

Я мог бы сказать, именно наши с ней отношения привели людей Видаля к нашим дверям – именно так говорят. Но это неверно – «видалистас» рано или поздно за мной пришли бы. Потому что Павес был моим другом и покровителем – другом и покровителем всех поэтов и писателей. Мои симпатии склонялись на левую сторону, но я никогда не обратился в веру социалистов целиком. Однако они,

так или иначе, хотя бы уважали печатное слово и знали, что поэты, писатели, журналисты составляют ткань коммерции и культуры. Моя ошибка состояла в том, что я слишком горячо восхвалял Павеса в своих редакторских статьях в «Ла-Сирене» и «Ла-Тромпете». Павес обладал достаточной силой, чтобы терпеть инакомыслие, хотя мы с ним по-разному видели дорогу простого человека к эмансипации. Я чтил искусство и образование; Павес, пусть и поддерживал то и другое, больше интересовался промышленностью и коллективным усилием народа, объединённого против интересов богачей. Теперь, все эти годы спустя, я знаю: именно это привлекло внимание Никсона и, ещё хуже, Киссинджера, их слуг с деньгами и влиянием. Вонь коммунизма вызвала у них отвращение, и по гигантским невидимым артериям в воздухе побежал их яд. Они сговорились низвергнуть мою родину.

За мной пришли бы рано или поздно.

Потому что я открываю двери, сам не зная почему.

Открываю двери, не понимая возможных последствий.

Издатель только что заплатил мне за последнюю книгу, и я на лето снял домик в Санто-Исодоро, на южном побережье Махеры близ Чили, в маленькой рыбацкой деревушке под названием Назаре у одноимённой реки. С ноября по апрель – все летние месяцы, когда климат умеренный – я собирался писать роман, который планировал. Великий роман Авенданьо! Проза, горячая, словно бычья кровь, так, что в ночном воздухе идёт пар! Мой аргентинский издатель был в восторге, моя любовница – счастлива, пусть и скучала по другим студентам, которым проповедовала марксизм и Евангелие по Че Геваре. Без этих сорвиголов она чувствовала себя не в своей тарелке.

Я был опьянён... но слова ко мне не шли.

Что-то меня отвлекло – и это что-то оказалось либо слишком лёгким, либо слишком любопытным, чтобы его упустить. Анхель Илабака, которого я сменил на посту председателя кафедры истории и литературы Католического университета Сантаверде, неожиданно умер. Поскольку он считал меня своим протеже, то завещал мне львиную долю своих книг, многие из которых были редкими и очень старыми. Вдова профессора со слезами привезла их мне в Сантаверде, и я, взяв книги, торжественно пообещал не дать его наследию

пропасть. Вдова не знала, что делать, и попросила, если найду что-нибудь ценное, принести это её детям, и я сказал, что так и сделаю.

Коробки с книгами проследовали за мной на юг, на побережье, где я по ночам, вместо того чтобы писать, читал и составлял их реестр. Днём мы с Алехандрой спали допоздна, ели сардины, пили богатые сухие аргентинские вина и курили марихуану, купленную в Сантаверде перед трёхдневной поездкой в машине на юг.

А потом я снова читал.

– Он любил Неруду, – сказала Алехандра на вторую ночь в Назаре, перебирая книги в коробке.

– Кто не любит Неруду? Он – наше сокровище, отец всех нас.

– Он – марионетка империалистов, – фыркнула она, пожав плечами.

– Он – величайший из голосов Южной Америки!

– Для Чили – может быть, но не для всех.

Закрыв коробку, она села рядом со мной и снова зажгла частично выкуренную прежде самокрутку. Жить с Алехандрой – всё равно что с большой кошкой: сейчас она ласковая и игривая, а в следующую секунду кусается и царапается. Она передала мне самокрутку, я вдохнул дым и задержал его в лёгких как можно дольше. Алехандра извлекла книгу из коробки, в которой я только что рылся:

– Томас Лаго, – она открыла её, пролистала, отбросила и достала другую: – Никанор Парра – всегда его любила, – снова отбросила. – «Волхв», «Дюна», «Космическо-исторические истории», «Вишнёвый сад», «Смерть Артемио Круса», – каждая из книг отлетала, падая на вершину растущей кучи. – Странно – на этой нет названия. И на этой, – она распахнула первую книгу и поморщилась от запаха плесени: – Даже не прочтёшь. «Малый ключ»? Что за бред.

Она взяла второй том так, будто держала крысоловку с грызуном внутри, и открыла с выражением чистейшего отвращения:

– Бла-бла-бла... «Эйбон», – отбросив книгу ко всем остальным, Алехандра вытерла руки о бёдра. – Куча гнилой целлюлозы.

– Смотри, – сказал я, вынув толстое портфолио в кожаном переплётё. Алехандра открыла и захихикала: – Наконец что-то интересное.

Внутри скрывались чёрно-белые порнографические фото – судя по разным размерам, проявленные на дому: мужчины имеют женщин, женщины – женщин, мужчины – мужчин; кровопускание, глотание телесных выделений, содомия; мужчины и женщины здесь перемещались между богом и дьяволом. Длинный ряд фотографий изображал гермафродита, совокупляющегося со всем и всеми подряд. С эстетической точки зрения все фото отличались плохой композицией и освещением, не считая тех, где были запечатлены половые органы и семя на лице и груди. Судя по потёртостям, эти карточки пользовались большой любовью и вниманием.

– Твоя репутация тебя опережает, – сказала Алехандра, кладя руку мне на пах и потирая. – Поэтому он, наверно, тебе книги и оставил.

– Скорее всего. Знал, что я уж точно не буду шокирован. И не стану открывать рта в университете.

– Иногда рот можно открыть... – Алехандра приблизила рот к моему уху.

– Погляди-ка, – я поднял одно из фото.

– Что это? Книга? Совсем не возбуждает.

– Похоже, рукопись. Много страниц. – Я стал перебирать – в папке оказалось пятнадцать-двадцать фотографий размером примерно двадцать на двадцать пять. На каждой – относительно хорошо освещённая страница рукописи, судя по рябой бумаге или пергаменту, очень старой.

– Она на латинском и греческом. Зачем прятать это в папке с порнографией?

– Или он очень хотел, чтобы её нашли, или совсем не хотел, – рука Александры продолжала своё дело. – Я предпочитаю трахаться.

После занятий любовью той же ночью я стал пить вино и рассматривать фото рукописи, и теперь меня не отвлекали. В кармане внутри кожаного портфолио скрывались страницы, отпечатанные Анхелем Илабакой на машинке в приготовлениях к переводу рукописи – примечания к латинским словам с их определениями. Он, как и я, не знал греческого, но записки упоминали трёх специалистов, которые могли бы помочь перевести рукопись на испанский.

Записки оказались очень короткими – свою работу Анхель начал второпях, а вёл спустя рукава и недолго. Я нашёл свои очки, вернулся к фото, поднёс очки к глянцевой поверхности первой фотографии, используя линзу как самодельную лупу, и стал переписывать латинский текст для последующего перевода. Я работал допоздна, пока перед ослабшими глазами всё не начало расплываться. Тогда я лёг в постель рядом с Александрой. За оштукатуренными стенами что-то мягко шептал Атлантический океан.

Чтобы переписать весь оригинал, ушло несколько дней. Покончив с этим, я с огромным наслаждением принялся перепечатывать черновую рукопись на «Ундервуде», а потом начал переводить. Моя юность прошла много лет назад; тогда уроки латыни, полученные от католических священников, ещё оставались свежи, как и полученные от них же побои. Римские улицы и античность казались, были совсем рядом, склонения глаголов легко приходили на ум. Однажды в молодости я перевёл на испанский все «Метаморфозы» Овидия за одно горячее лето, слушая голос тени, эхом доносящийся из-за пропасти тысячелетий. Это было моим первым поэтическим опытом.

И между тем, как, склонясь,

остальные животные в землю

Смотрят, высокое дал он лицо человеку и прямо

В небо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи.[2 - Перевод
С. В. Шервинского.]

Но я ведь Авенданьо – неисправимый поэт, влюблённый в тайну языка! Я не собираюсь оставаться простым переводчиком поэзии – я стану её господином! Я возьму штурмом небеса и сяду на трон самого Овидия!

Я был развит не по годам и так молод.

Это было тогда. Теперь же мой роман не двигался с места, зато рукопись давала некоторое удовлетворение. Иллюзию прогресса, ради которого я поехал по другой тропе, словно тележка, застрявшая в грязи. Не обращая внимания на написанное Илабакой, я начал заново – я сделаю это целиком и полностью сам. Судя по заметкам покойника и фотографиям, рукопись называлась «Opusculus Noctis». Я перевёл это на испанский как «Маленький ночной труд».

Придумав название, я засмеялся, вспомнив «Маленькую ночную серенаду».

Не знаю, что за блок стоял у меня в голове и почему из-за него я сосредоточился на рукописи, а не на романе. Если бы я точно знал, что заставляет меня действовать и не действовать, то испытал бы существенно меньше бед в жизни – но я загадка даже для самого себя.

Шли недели. Днём я спал или пил, а ночами сидел в кабинете, уткнувшись носом в бумаги. Наконец Алехандра вышла из себя:

– Ты не в себе и воняешь. Поехали в Буэнос-Айрес. Или в Кастуэру. Куда-нибудь, где есть ночной клуб и кафе. Мне надоело тебе готовить.

Вечер только начал опускаться, и тени стали вытягиваться к морю. Она стояла в дверях кабинета, свет бил из-за её спины, и я видел только контуры тела Алехандры под крестьянским платьем, но не её лицо.

– Уверен, ты можешь заполучить любого мужчину, который тебе приглянется, – я указал на дверь. – Даже умеющего готовить.

Она весьма красноречиво выругалась и заявила:

– О да, я легко найду другого. А ты только и делаешь, что пялишься на свои фото и манускрипт и бухаешь вусмерть. Я боюсь за твою печень.

– Каждую ночь её выклёвывают, и каждое утро, стоит мне проснуться, она снова цела, – ответил я. Должно быть, на меня действовал Овидий.

Мы с Александрой ссорились, трахались и снова ссорились. Она становилась всё более и более недовольной, и это настроение переменялось, лишь когда приехала её сестра: тогда они погрузили вещи Александры в «фольксваген» и оставили меня с моей работой, о чём я совсем не сожалел. Я пил слишком много рома, скотча и вина, ел слишком много тортилий, сыра и жирной баранины и набирал вес, точно лорд Байрон на побережье. Океан был в нескольких шагах от чёрного входа дома, но я спал плохо и, когда Морфей покидал меня совершенно, спускался и заходил в волны, надеясь, что старое лекарство – соль и пена – смоют тень, нависшую надо мной и наполнявшую мою голову жуткими, мрачными образами. Но мысли никуда не исчезали.

Иногда на этом бескрайнем и беззвёздном берегу я чувствовал себя покинутым, и казалось, что моря вот-вот поднимутся или небо треснет, раздуется, изрыгнёт царство бога, и оно нас затопит. По ночам, даже когда в доме было пусто, я слышал шёпоты. Мы жили на самом юге, но погода поменялась, и на две недели яркие осенние деньки сменились мрачными и дождливыми. Я купил ещё один шерстяной свитер и кальсоны под брюки, но по-прежнему плавал в море в поисках старого лекарства да тормозил свой перевод, как терьер тормозит какую-нибудь найденную в лесу падаль.

Чем больше я читал и переводил «Маленький ночной труд», тем более беспокойно мне становилось. Я регулярно ходил в деревню и пил пиво в сервесерии[3 - Пивной (исп.)] со старыми рыбаками, вернувшись домой из моря. Говоря о погоде, они обсуждали размер волн, как будто груди женщины – какие пышные, какие роскошные! Санто-Исодоро – тонкая полоска земли, продуваемая ветрами, где, чтобы увидеть настоящие деревья и прочую растительность, нужно удалиться от побережья на километры. Это биологическое однообразие нашло отражение и в местном населении, зато они прекрасно чувствовали ветер и погоду. Когда небо становилось тёмным, рыбаки говорили: «El mar sue?a que es el cielo», морю снится, будто оно – небо. Я тут же решил, что эта фраза станет заглавием романа, который я определённо не писал.

Целыми днями я расшифровывал по частям «Маленький ночной труд», снова и снова возвращаясь к фотографиям. Эта задача была не из лёгких, что пробудило во мне неотвратимо-упорную решимость. В моём воображении наконец-то оформилось требуемое художественное видение, и я решил, что, если хорошо потружусь, мне удастся воплотить его в реальность.

Я стремился, чтобы перевод сопровождал и дополнял иллюстрации, иногда напомиравшие какое-то гнусное зашифрованное послание: то мужчина в поле с тридцатью монетами, то люди с волчьими лицами вокруг трупа, а из его естественного отверстия вылезает человек в короне и с мечом. Где-то – человек с отрубленной рукой, где-то – огромный змий с яркими, умными глазами, всё его тело – сплав человеческих частей. Иллюстрации выполнены грубо, примитивно – но так выразительно! – напоминая скорее наскальную живопись в пещере Ласко, чем миниатюры на пожелтевшем пергаменте. По ночам во сне я видел себя с настоящей книгой – рукописью «Маленького ночного труда» – в руках и листал страницы. В ноздрях стоял щедрый аромат бумаги, а перед глазами – рисунки злобного, но гениального ребёнка. На каждом фото корявые латинские строчки толпились вокруг тёмных прядей ужаса. Игнорируя греческий, каракули почерка и брызги чернил, оставленных при письме и гравировании, я всматривался в иллюстрации: препарированная птица зависла в небе, плывя посреди, кажется, пиявок; труп с пустыми глазами поднимался из земли и укоряюще указывал пальцем в сторону маленького дома на горе; женщина в короне и с фиалом в руке смотрела на иссохший младенческий труп в колыбельке; солдаты держали копья, а над ними нависала чёрная туча с устрашающим звериным хвостом. Наскальная живопись в стиле брутализма; но как же близко перевод был к поэзии! Я начал воображать, как возьму и опубликую эти отрывки под заглавием «Морю снится, будто оно небо», раз уж свой роман я навсегда забросил, и эта идея заняла постоянное место в моём разуме. Тогда я начал настоящую работу. Как не просто перевести это с латыни, но возвысить древние слова до настоящего искусства?

И сам же ответил на свой вопрос: через гордость. Через эго. «Ночной труд» станет искусством, пройдя через портал, которым является поэт – я; и мой гений преобразит его. Я зажегся, вспылал, наэлектризовался.

Фотографии обернулись словами, слова – стихотворениями, а стихотворения – обрамлениями для составляющих моей души. За «Вернувшимся мертвецом» и «Отсечённой рукой» последовало «Отмщения и элементы присвоения вновь». Пройдя через меня, латинские каракули стали окном в человеческий опыт.

Один отрывок – тот, что ближе всего стоял к толпе солдат и туче с устрашающим хвостом, – превратился в стихотворение «О миазмах солдат и маяке жестокости». Вот оно:

Солдаты приходят, не зная,

в мантии безымянных:

бесконечные блудодеи, разрушители рая.

От кончиков их копий до эфесов их мечей,

от их недобрых намерений до жестоких мыслей

поднимается сильный запах.

Кровь взывает ко крови,

зло требует зла;

болью и жертвоприношением

мы привлекаем взор незримых глаз:

за звёздами шевелится титан.

Убийство и

кровопускание —

такой сладкий, манящий аромат.

Боль становится фимиамом,

жертва – маяком.

А маяк – дверью.

Неплохо. Я почистил его, убрал повторы, прояснил неясные мысли и сделал более привлекательным для духа Махеры. Теперь это было моим единственным занятием – о романе к тому моменту я забыл совершенно. Я был полон сил и предвкушал будущее, свой новый сборник стихов и успех, который он обретёт.

Если бы только не кошмары.

Александра вернулась из Кастуэры, попрощалась со своей сестрой Офелией и убедила отложить работу. Теперь, немного продвинувшись вперёд, я снова мог передохнуть. Наш бесконечный цикл ссор и лихорадочных занятий любовью возобновился, я катал Александру в ялике Перона и долго гулял с ней по пляжу. Старый рыбак из сервесерии, которого все звали Бальо, пригласил нас на новогоднее пиршество на пляже – множество местных, молодых и старых,

соберутся, чтобы пить, плясать и жарить асадо[4 - Асадо – популярное блюдо в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадоре, Парагвае, Перу, Уругвае и Венесуэле. Мясо жарят на гриле или открытом огне.]; мы с готовностью согласились.

У костра музыканты бренчали на гитарах, мы с Александрой держались за руки рядом, и смеющиеся гости подливали нам в бокалы вина. Солнце село, искры от горящего дерева плыли вверх, в небеса; на шестах горели факелы и светильники, и в их дрожащем жёлтом свете целовались смеющиеся молодые мужчины и женщины. Когда Бальо, будто ни в чём не бывало, вывел вперёд свинью, приставил ей к голове пистолет и выстрелил, никто вокруг меня не удивился. Свинья, издав гулкий звук, повалилась, музыка замолчала, собравшиеся издали радостный клич, бросаясь вперёд, хватая животное за ноги и укладывая застывшее тело в новую позу.

– Чтоб её прибить, пугача мало, – сказал мне Бальо, ухмыляясь и демонстрируя зияющие дыры в ряду зубов. Лица всей ликующей толпы, особенно если глядеть снизу, в свете факелов и костра выглядели демонически; что касается Бальо, его рот казался чёрным, глаза – лужами нефти, а улыбка – кровожадной. – Но, слава Матери Марии, не визжала.

Он извлёк из ниоткуда нож и перерезал свинье горло, зарываясь руками в челюсти. Из раны хлынули неестественно красные потоки крови, которую местные жительницы с орехово-коричневой кожей стали собирать в жестянку. Подняв тело свиньи, её под песню Бальо «Noches de luna» бросили в костёр на несколько секунд, опалая, потом вынули, вернули на место и начали скрести деревянными рейками, удаляя щетину. Тут пришло время Бальо показать своё владение ножом по-настоящему. Бело-голубые витки внутренностей, выпавшие на землю, сложили в большое деревянное ведро, чтобы промыть в прибое. Печень, желудок и сердце достались Бальо. Лёгкие, похожие на розовую птицу-утопленницу, не хотел никто, и тогда Бальо зашёл далеко в море с ножом в одной руке и лёгкими в другой, забросил их как можно дальше и смыл кровь с ножа и рук солёной водой, а лунный свет, рассеянный по волнам океана, подсвечивал его спину.

Александра жадно наблюдала, не боясь ничего. Промокший до нитки Бальо вернулся к опустошённому телу свиньи. Он ухмылялся, и алчное выражение его лица отражалось на лицах мужчин и женщин вокруг. Мне стало не по себе: в туше свиньи, разложенной на прибрежных камнях и гальке, зияла блестящая,

влажная, красная полость, от которой я не мог отвести глаз. Из этой полости в мир людей червем выползала жуткая фигура – человеческий облик, залитый кровью, корона, меч...

– Ты в порядке? – Алехандра положила прохладную ладонь мне на предплечье.

Очнувшись от своих грёз, я увёл её прочь, оставив Бальо посреди резни, и пошёл искать выпивку покрепче. Съесть хоть кусочек асадо, приготовленного на том празднике, я не смог бы.

Перевод снова взывал ко мне, зрея в подсознании, но теперь пришло нежелание отвечать на зов. Моим якорем стала Алехандра – да, теперь я уверен: её звали Алехандра Льямос. Стоило закрыть глаза, как перед взором вставали мои руки, а в них – манускрипт «Ночного труда». В моих мыслях припевом, грегорианским эхом повторялись латинские фразы, так похожие на испанский язык. Просто читая непереведённые слова, я чувствовал, что приближаюсь к их смыслу; но каждый раз, когда мои думы начинали блуждать вдали, среди древней поэзии, Алехандра била меня по щеке – или опускалась на колени и расстёгивала мой ремень. Иногда мы целые дни проводили на рыбацком ялике Перона, пили ром, забрасывали лески, увенчанные металлом, и вопили от радости, когда удавалось вытащить серебристых рыб, бьющихся в агонии. Я отрастил бороду (тогда в ней впервые показалась седина), съел столько макрели, сколько сам весил, и каждую ночь падал в постель в облаке запахов солнца, моря и рыбы. Но теперь я даже днём видел подвижные тени, и сколько бы ни окунался в волны и пену, сколько бы времени ни проводил у моря, прогнать их было невозможно. Я пытался изнурять себя физически – долго ходил пешком, сотни раз отжимался и приседал, но сон не приходил.

Мои мысли начинали туманиться, и, хуже всего, я не знал, что происходило в Сантаверде.

С тех пор я пытался собрать головоломку и определить, как они меня нашли, хотя я был очень далеко, в Санто-Исодоро: через мою помощницу по хозяйству? Через издателя, помогавшего с арендой дома в Эстансия-лас-Виолетас?

В конечном итоге это не имеет значения.

Однажды вечером, когда небо помрачнело и тени становились все длиннее, нас нашла четвёрка, похожая (как мне показалось) на американских солдат из фильмов «Поле битвы» и «Тора! Тора! Тора!». Я так и представил, как один из них, напоминающий Ван Джонсона, постоянно взбивает украденные яйца внутри своей каски, чтобы они не свернулись. Но эти солдаты окликнули меня по-испански:

– Авенданьо! – сказали они за дверью. Какой-то прохожий на улице дрожащим голосом ответил, что меня тут нет, я уплыл в открытое море рыбачить. Но я, будучи глупцом, не хотел, чтобы за меня кто-то лгал: я не был трусом, и после кошмаров, терзавших меня, ни один солдат не мог меня испугать.

– Вот я, – произнёс я, распахнув дверь. – Что вам нужно?

Солдаты от такой наглости переглянулись между собой, и один из них ударил меня в лицо прикладом винтовки – настолько быстро, что я только и успел заметить, как что-то двигается и увеличивается в моём поле зрения. По лицу расплылась боль, и я испытал странное ощущение падения. Оно странно, потому что падение – это всегда свобода невесомости, которую оттеняет жестокое напоминание об ограничении – гравитации; это низвержение Люцифера в миниатюре. Солдаты заорали что-то, но я не помню что. Помню только, как Алехандра кричала, а меня тащили к грохочущему грузовику, воняющему дизельным топливом. Потом я лишился чувств, и не знаю, каким ужасам они подвергли Алехандру. Я больше никогда её не видел, по крайней мере наяву.

Когда я преобразился – когда обрёл дар большего зрения – я не вернулся, не стал искать её, не стал бороться за неё – Алехандру Льямос. Да, уверен, её звали так.

Всё-таки я был – и остаюсь – трусом.

Авенданьо в прозе был ещё более невыносим, чем Авенданьо в личном общении. Отложив его рукопись, я убралась на кухне и в мавританской спальне и вышла

из квартиры.

На следующий день я позвонила Клаудии из своего кабинета. Автоответчик произнёс: «Это Клод, оставьте слова после гудка», и раздался гудок – непредвиденный вызов на сцену. Тут я испытала страх сцены в наименее вероятном для этого месте – собственном кабинете.

– Привет, это Исабель. Я... – неуверенно начала я.

Что сказать? Другие люди, непринуждённо переходящие из ситуации в ситуацию, смеясь, говоря, взаимодействуя, точно знали бы, какие слова озвучить, точно мошенник, убедительно строящий легенду. Мы – животные, и значительная часть коммуникации – не более чем успокаивающие вокализации, мягкие гортанные смычки и взрывные согласные, сообщающие другим животным, что не хотим им вредить, а считаем частью своего племени. Накладывать на это другие значения – это просто... лишнее. Эти животные звуки я, как обнаружилось, произнести не могла.

– Жалко, что не застала тебя. Я хотела поговорить, – сказала я и повесила трубку, потом собрала заметки и отправилась на пару: читать лекцию о Есении Пинилье и пасторальных образах в её поэзии. Есения была родом из Ла-Коронады в Махере – как и я.

Два дня спустя я сидела на скамейке в парке Уэлин – там, где впервые заметила Око, – и читала. Стоял прекрасный солнечный день, веяли свежие запахи моря, и казалось, что Авенданьо вот-вот подойдёт прямо ко мне, сядет, закурит балийскую сигарету и заведёт дискуссию о религиозном символизме в фильмах про лучадоров или о том, какая часть курицы самая вкусная (он говорит «печень», я – «бедро»). Я наблюдала, как матери катят перед собой коляски, молодые мужчины курят, а где-то вне моего поля зрения побирался гитарист, распевая песни Элвиса и «Битлз», очень плохо изображая американское произношение.

Мои рассеянные мысли разрывались между двумя враждующими сторонами. Одной была Клаудия. Мы провели чудесную ночь, и я хотела бы говорить с ней без трудностей, заключавшихся, как я теперь думала, в требовании быть парой. После секса я заметила (хотя, по сути, не секс главный двигатель для меня), что второй человек в этом уравнении часто становится собственником, что меня

несколько царапало. На следующее утро бесстыдная Клаудия, казалось, повела себя грубо, и моя реакция, видимо, была инстинктивной. Я – одиночка, хотя об этом Авенданьо мог спорить со мной часами: «А откуда ты знала, что я – махерец? А я откуда знал, что ты оттуда? Ты – часть огромного полотна, о котором и не подозреваешь, Исабель».

Во-вторых, в моём сознании то и дело внезапно выскакивала исповедь Авенданьо. Например, я сидела на берегу, купалась в солнечных лучах, смотрела, как они разбиваются о поверхность воды, и вдруг думала: «Морю снится, будто оно небо».

«Во что превращается море, когда видит сны?»

В более тихие моменты я пыталась представить себе внешность Алехандры, её походку или звук её голоса, и в моём воображении она начинала напоминать Клаудию. По ночам, когда вы лежите в постели и отчаянно пытаетесь уснуть, но ваш разум вспоминает всё плохое, что вы сказали или сделали, и всё плохое, что сказали и сделали вам, я думала о его стихотворении «Миазмы солдат», о «видалистас», которые пришли и увели Око от его идиллий и трудов. «Кровь взывает ко крови, зло ко злу; болью и жертвоприношением мы привлекаем взор незримых глаз: за звёздами шевелится титан». Я не знала, что это значит и насколько это важно, но часть меня требовала взглянуть на латынь – вдруг получится извлечь из неё больше смысла, чем Авенданьо? В церкви, школе и университете я была отличницей и не сомневалась, что могла сделать лучший перевод, чем у Ока.

Таковы были мои мысли в тот момент, когда на дальней тропе парка появилась Клаудия, плывя посреди аккуратных клумб и роскошных папоротников. Я подняла руку, чтобы помахать ей, но остановилась, увидев, что она с женщиной – долговязой, неуклюжей девушкой с плохой осанкой, но роскошными блестящими волосами. Заметив меня, Клаудия схватила свою спутницу за руку, потащила вперёд и с излишним энтузиазмом пропела:

– Здравствуй, Исабель! Догоняешь свои уроки?

В юности я целыми неделями стояла перед зеркалом, заставляя неповоротливые мышцы лба двигаться, чтобы брови выразительно изгибались. Если уж они так бросаются в глаза, думала я, почему бы не научиться их использовать для

пущего эффекта?

- А что ещё мне делать - в футбол играть? - Я знала, что Клаудия играла в футбол за спортивную стипендию от Барселонского университета. - Каждую неделю - больше пар, новые темы. Как твоя карьера ассистентки преподавателя?

- Прекрасно! Мы зазубрили цикл трикарбоновых кислот и теперь переходим к аэробному и анаэробному дыханию.

- Тридцать четыре АТФ! - сказала спутница Клаудии.

- Нет, - Клаудия покачала головой, хмурясь, - тридцать восемь.

Не обращая на неё внимания, я отложила сборник Пинильи, встала и подала новенькой руку со словами:

- Я знакома Клаудии.

Новенькая была на восемь-десять сантиметров выше меня - я могла заглянуть ей прямо в ноздри, где тоненькие волоски переплелись, точно ветви в кроне голого дерева. Любопытный вид. Она улыбнулась, и всё её лицо смягчилось и прояснилось, но глаза оставались грустными. Я понимала, почему Клаудия с ней - казалось, будто рентгенолог одел меня в тяжёлую свинцовую броню.

- Я Лаура, - она пожала мою руку.

- Мы хотим выпить «У Мануэля», - продолжала Клаудия, не отпуская вторую руку Лауры. Затем она, неотрывно глядя на меня, подняла её и поцеловала тыльную сторону ладони. - Хочешь присоединиться?

- Нет, спасибо. Мне нужно готовиться к завтрашним занятиям.

Я поторопилась убрать книгу в сумку и бросилась бежать, бродить по улицам и переулкам, пока, сама того не заметив, вернулась в квартиру Авенданьо.

Открыв дверь, я увидела кота – он сидел в кресле Авенданьо для чтения, задрал ногу, и лизал яйца. Стоило мне войти, он поднял глаза от своих тестикул и уставился на меня большим жёлтым глазом – второй был белый как молоко. Уши кота оказались порваны (должно быть, от битв за территорию с другими самцами), а мех, рассечённый узором лысых царапин, подтверждал мою догадку о его воинственной натуре. Хвост отсутствовал уже много лет. Один вид этого крупного животного заставил меня остановиться как вкопанную.

Наконец кот отвернулся, встал, потянулся, спрыгнул с кресла и затопал ко мне: крепко прижался к ноге, молча обтирая её и давя на голень всем своим весом. Описав вокруг меня круг, кот направился обратно в квартиру и на балкон. Я последовала за ним, чтобы не терять животное из виду; он прыгнул на узкие чугунные перила, перешёл на ближайшую крышу в красной керамической черепице, удостоил меня взглядом напоследок и нахальной походкой поднялся по крыше, скрываясь из виду.

Я озадаченно вернулась ко входу – пришло только два новых конверта. Один содержал очевидную рекламу, второй был адресован мне, и я его открыла.

Драгоценная Исабель,

Я жив и здоров в Буэнос-Айресе. Купил дешёвый «Фольксваген-жук» – давным-давно, пока небеса не рухнули, у меня был такой же. Хотел снять джип, но здесь в Аргентине никто не даст в аренду машину одноглазому мужику, собирающемуся в Махеру. Видаля здесь не любят, и ходят зловещие слухи об ANI и тайной полиции Видаля, влияние которой якобы распространяется за границу. Когда на смену хунте пришёл Альфонсин, Аргентина образумилась, и теперь смотрит на соседку с немалым подозрением.

Пишу тебе из Кордобы – отсюда родом семья моей жены. После переворота – что был так много лет назад – они ничего о ней не слышали. Здесь в Аргентине у меня неоднозначная репутация, мне не очень рады, и придётся идти дальше. Завтра я уеду – попытаюсь прорваться в Махеру. Нужно решить, пересечь ли границу у Сантаверде или через горы у Каскавеля, ближе к северу. Склоняюсь ко второму – говорят, граница у Сантаверде кишит карабинерами, у которых прямые связи с тайной полицией.

Давай договоримся о телефонном звонке 12 ноября в шесть часов вечера. Я позвоню в свою квартиру и, если ты будешь там и ответишь, останусь очень признателен. Под моей кроватью – телефон, а на кухне – розетка для него.

Открывай всю почту, какую найдёшь, – я ожидаю пару чеков от издателей. Можешь положить их в Банк Барселоны на Калье-Пассасуэго. Только захвати удостоверение личности – я сообщил им, что ты будешь моим агентом.

Скучаю по нашим беседам и совместно проведённому времени.

Корми кота – он твой защитник. Если прочитаешь книги, не критикуй слишком жёстко. Подумав, я решил, что некоторые рукописи в моей квартире не стоит читать – определённые вещи лучше не знать.

Твой друг,

Старик казался мне то невыносимо раздражающим, то очаровательным, однако я за него волновалась. По слухам, ANI убили тысячи людей и подвергли пыткам в десять раз больше, а он ехал им навстречу.

Я просмотрела остальную почту. Я сносно знаю английский, плохо – немецкий и ужасно – французский, но добраться до смысла писем было нетрудно: одно пришло из Америки, от другого изгнанника из Махеры, поэта и учёного, очевидно, бывшего хорошим и близким другом предположительно покойного Авенданьо, – он просил совета в продвижении своей карьеры. Второе письмо тоже было от близкого друга – пожалуй, слишком близкого: женщины, не стеснявшейся в описаниях эротических актов, которые хотела совершить с Оком. Судя по контексту, они переписывались уже давно и оживлённо; в её искренних похотливых фразах читалось желание свидания – Авенданьо оставалось только его прочитать. Скорее всего, он всё понимал. Среди бесконечных отчётов по продажам скрывались три чека от издателей – один из Франции, другой из Германии, третий из Британии – в совокупности составлявшие двадцать тысяч песет. И снова реклама.

В последнюю очередь я открыла два письма из Махеры, адресованные Рафэ Даньо. Первое было ответом от некоего Хосе Бланко – махерского министра лицензий и разрешений на ведение бизнеса: он заявлял, что в записях нет упоминаний ни Беллы Авенданьо, ни Исабеллы Авенданьо, ни Исабеллы Кампос; но, продолжал сеньор Бланко, он с радостью приглашает Рафэ Даньо в свой кабинет, чтобы более подробно обсудить его интерес к пропавшим женщинам.

Я содрогнулась – его формулировка вызывала ужас на физическом уровне.

Отложив письмо, я открыла последний конверт – в нём был лишь маленький листочек бумаги:

– 20.518097, -67.65773

Александра

* * *

Я так и не вернулась к своей бывшей жизни до встречи с Оком: с прочтением его письма моя связь с Малагой, университетом и всем остальным в Испании ослабела. Я преподавала, но это был лишь способ убить дни до двенадцатого ноября. Я всё больше времени проводила в квартире Авенданьо и всё меньше – в своей; я покупала коту тунца и сухой корм, достала телефон из-под кровати и подключила к розетке на кухне. Придя депонировать чеки в банк, я удивилась, когда кассирша отвела меня в кабинет красивой и величественной женщины. Она тепло меня поприветствовала и вручила конверт с десятью тысячами песет (приблизительно тысячей американских долларов), сообщив, что Рафаэль Авенданьо настоятельно указал выдавать его агенту ежемесячную стипендию.

– Поверьте, господин Авенданьо может позволить себе такую щедрость, – добавила она.

Я взяла деньги. Как легко было пойти по этой дороге. Око нашёл самый простой способ меня искутить – даже если бы он нарядился в красный костюм, схватил вилы, вскочил на крышу, озарённую бликами костров, и стал подкручивать усы, я

всё равно согласилась бы. Должно быть, ад полон нищих академических работников.

Двенадцатого я сидела на кухне и ждала, наблюдая, как медленно ползут стрелки часов. Наступило шесть часов, телефон молчал.

На следующий день я отпросилась с работы под предлогом болезни и осталась в квартире Авенданьо, ожидая звонка; даже пошла к домовладельцу и попросила позвонить в квартиру, пока я была там, чтобы проверить, работал ли телефон. Стоило выйти, как меня охватил страх, что телефон зазвонит, пока меня нет, и, вернувшись, я чуть не закричала, услышав его трель, хотя сама же договаривалась об этом с домовладельцем – вот как взвинчена я была. Я всё больше и больше волновалась за своего друга.

Должно быть, часть Ока просочилась в его квартиру – я стала чаще курить, хотя обычно почти не курила, и пить даже днём; купила автоответчик, чтобы он отвечал, пока я преподавала; редко бывала в своём университетском кабинете, а в свою квартиру вернулась, только чтобы собрать вещи и перенести в дом Авенданьо. Я разрывалась – одновременно взвинченная и рассеянная, я волновалась за него, но и сомневалась на его счёт, оставалась одинокой, но сохраняла связь с этим странным и сумасбродным стариком.

Я снова и снова возвращалась к его бумагам и продолжила перевод, начатый Авенданьо: хотя я ни разу не переводила «Метаморфозы» целиком, моё знание латыни было свежее его. Я поискала перевод Овидия в квартире, но не нашла, и ограничилась чтением поэзии Ока и «Маленького ночного труда».

Кровожадность и мрачность последнего я до сих пор не способна описать словами; среди тем этого труда (насколько я его поняла) особенно ярко выделялись две:

Первая – жертвоприношение, кровь, жизнь, невинность... цена. Я начинала понимать, зачем этот опус спрятали в папке с порнографией. Будучи не душой, я понимала, что передо мной лежал профанический текст; найдя подобное, католическая и любая другая церковь уничтожила бы его или спрятала под замком, а владельцы книги оказались бы преданы анафеме, без промедления и бюрократии. Свою истинную природу «Маленький ночной труд» скрывал за туманными стихами и устаревшей, напыщенной латынью, но он со всей очевидностью был книгой о колдовстве, о чёрной магии. Истории внутри и иллюстрации к ним – примитивные, но живые – представляли собой не

заклинания, а скорее введение в сделки с незримыми силами.

Жертвоприношение было основной темой, а второстепенная заключалась в следующем: плод жертвоприношения – это «вход», «ingressus»; это слово, наряду с «лиминальный», появлялось снова и снова. Описания насилия, инцеста, увечий, наносимых себе, гноились в моих мыслях, точно раны. По ночам мне не спалось, днём я шла по улицам Малаги, будто во сне, отупевшая и с ватой в голове, так как ночью не спала.

Интересно, задумывалась я, где Авенданьо достал фото печатных страниц «Маленького ночного труда», ведь той давней-давней ночью его арестовали «видалистас»?

Одно следует за другим, и, продолжив перевод «Труда», я вернулась к странной исповеди Авенданьо «Внизу, позади, под, между». Я должна была понять, какое отношение друг к другу имели две рукописи, и какое отношение они имели к человеку, меня с ними познакомившему. Он ведь не позвонил, когда обещал. Напряжение во мне становилось всё сильнее, и, не зная всей истории, я не могла как следует его выразить.

Я снова начала читать.

Авенданьо (2)

Запиши моё имя, запиши обсидиановыми чернилами,

Подобными чёрным волнам

у каменных берегов Махеры,

Где море сходится с землёй

И небо кишит крачками и чайками,

Скользящими по потокам воздуха.

В этой тюрьме никто не ходит с гордо поднятой головой:

Вся ваша слабость видна

Любому существу, что проходит мимо.

Гильермо Бенедисьон. Nuestra Guerra Celestial[5 - Наша война в небесах (исп.).]

Некоторые поэты думают, они ангелы, и их слова им посылает некая божественная сила, превосходящая их самих. Некоторые думают, они демоны, которые дарят голос лаве слов подсознания, извергая его пылающую квинтэссенцию в мир. Пока я с распухшим лицом приходил в себя и тут же уходил, я слышал и слова ангелов, и слова демонов: Камилы Арайи, Гильермо Бенедисьона, Есении Пинильи и, конечно же, Неруды, нашего великого отца. Они шептали мне, пока я лежал в сумерках между сознанием и забытьём: «Тёплые носки, появление орд, навязчивые идеи, из-за которых я с непристойным вниманием читаю нескольких психологов, наша война в небесах, я тебя не люблю, я люблю свою ревность к тебе, облака раскалываются, небо раскалывается». Тысяча голосов крутилась в голове. Теперь, из своей дали, я понимаю, что это были лишь сокращения плоти, пытающейся ухватиться за что-нибудь, дабы защититься; содрогания организма, попавшего в тяжёлую ситуацию и ищущего спасения в своём опыте и габитусе. До тех пор ведь моя жизнь была всего лишь гобеленом стихов и поэм.

Теперь моя жизнь перестала быть моей.

Солдаты раздели меня до трусов, связали руки и ноги клейкой лентой и положили в кузов грузовика на жёсткие деревянные доски. Я знал, что в Махере беспокойно, а богатая элита, сколотившая состояние на труде бедняков, ненавидела Павеса, так же как наш дальний северный сосед, нависший штормовым фронтом – Estado Unidos, американские просторы, – ненавидел социалистические и марксистские движения. Это они убили Гевару. Стреляли в него боливийские карабинеры, но в их тени стояли другие, а ружья карабинеров были сделаны из американского металла. В те времена я был аполитичен и интересовался только жизнью плоти и души, но страусом я не был и, благодаря Алехандре, знал о потайных реках недовольства в Махере. Все часы, что я трясся в кузове грузовика – точнее, всё время, что я был в сознании, – меня переполняли зловещие и пугающие мысли. Я боялся не только за себя, не только за Алехандру, но за свою страну.

Солдаты тихо переговаривались надо мной и курили американские сигареты. Запах тлеющего табака напоминал о воскуренных благовониях, когда пепел и угольки сыпались на меня, будто на связанного агнца на заклятие. Сигареты

воняли. Их – «Пэлл Мэлл», или «Уинстон», или «Мальборо» – привезли с юга Техаса на какой-то проклятой грузовой барже с дизельным мотором через залив и Атлантический океан, вниз по побережью, в Аргентину; в Буэнос-Айресе их разгрузили опалённые солнцем стивидоры[6 - До 1960 года этот термин обозначал портовых грузчиков, после 1960-го – компании и должностные лица, которые занимаются разрузкой и погрузкой.] под чайками, орущими в полёте на небо и ненавистный берег; мозолистые руки бесцеремонно погружали деревянные ящики с упаковками на платформы грузовиков и везли на запад, через горы, пока этот тлетворный запах не достиг меня, находящегося в руках солдат. Возможно, это был подарок от кого-то из сотрудников американского правительства – подкуп, бакшиш за сделку с голубоглазым и светловолосым великаном-антимарксистом, возвышавшимся далеко-далеко на севере с его зловонным дыханием. Я лежал в горячке, избитый в кровь, грузовик трясся по дороге на северо-запад, прочь от побережья, а вонь окутывала меня. Наконец эта вечность, в которой я, лишившись чувств, застывал в облаке боли, закончилась, и мы остановились. Я тогда находился в сознании, и моё тело ныло. Сильнее всего болела голова, хотя кожа на ногах, руках и груди была вся окровавлена и оцарапана о доски. А ещё хуже были моя поруганная гордость и неприкосновенность. Что стало с Александрой? Мои ноздри наполняла засохшая кровь и солёный потный запах мужчин и старых сигарет. Солдаты грубо шутили про мой живот и тыкали в меня дулами ружей; кожа на лице, особенно у глаза, казалось, была переполнена соком и вот-вот лопнет, как у сардельки над костром. Меня вытащили из грузовика, не замотав лица и не закрыв глаз, и это привело меня в ужас – им было всё равно, знаю ли я, где нахожусь! На миг мой нос наполнил свежий воздух, аромат листвы и цветущих растений, в глаза хлынул солнечный свет, и я заметил здание – точнее, крышу и стену сада, – за ними дерево, а ещё дальше – полоску неба и горы. Махера. Гильермо Бенедисьон назвал мою возлюбленную родину длинным лепестком моря, вина и снега. Я знал это небо и эти увенчанные снегом горы – если я и не находился в Сантаверде, то был очень близко. Я понял бы это, даже если бы мне завязали глаза: я чувствовал запах мелкой коричневой воды реки Мапачо, которая бежала к толстому Паласу, а тот стремился к морю.

Мне, уроженцу Махеры, не нужны были глаза, чтобы знать: я дома – а карабинерам было всё равно, знаю ли я. Сколько всего ужасного произошло, пока меня не было?

Меня потащили в здание: внутри стояла тишина, точнее затишье, которое бывает сразу после прекращения мучительно-громкого шума. Двое солдат несли меня за подмышки, и я волочил свои босые, по-прежнему связанные ноги. Здесь

было холодно – толстые каменные стены утепляли помещение, но недостаточно. Меня пронесли через зловеще-тихую комнату, полную голых людей, пустыми глазами уставившихся на меня. Карабинеры молча следили за ними, ни на миг не опуская оружия. В каменных коридорах то и дело внезапно отдавался эхом хохот солдат.

Солдаты оставили меня в месте, которое раньше, наверно, было кабинетом: окно здесь было замуровано кирпичами. У стола управляющего стоял металлический стул с пластиковым сиденьем, с потолка одинокая лампочка в клетке отбрасывала на помещение неровные прямоугольники жёлтого света. В комнате пахло мочой и страхом, хотя, если бы тогда меня попросили определить второе, я не смог бы его описать. А потом...

А потом кто не смог бы?

Не знаю, как долго я там пробыл, брошенный ими. Я то сидел на неудобном металлически-пластмассовом стуле, то ходил кругами, то прикладывал распухший глаз к каменным стенам, чтобы его остудить. Мне нужно было облегчить кишечник и мочевой пузырь, и я уже в отчаянии поглядывал в угол, но тут в двери загремели ключи, и в кабинет вошёл человек – карабинер с ружьём. Оглядев помещение, он указал дулом ружья, чтобы я сел на стул, и я подчинился. Тогда в кабинет, глядя в блокнот-планшет, зашёл второй человек: первую страницу он прочитал, не поднимая головы, перелистнул на следующую и только тогда посмотрел на меня поверх очков, будто пожилой профессор – только вот на нём был мундир махерской армии, без особых украшений, но с указанием на звание подполковника. На груди этого приземистого мужчины с густыми чёрными усами и глубоко посаженными глазами, говорящими о недостатке сна, виднелась табличка, и на ней стояло имя: Сепульведа.

Мне захотелось броситься на карабинера, выцарапать ему глаза, вырвать из рук ружьё, но я уже тогда был немолод и почти гол, и казался себе очень маленьким.

– Рафаэль Авенданьо? – спросил подполковник.

– Где Алехандра? – удалось мне произнести.

Сепульведа бросил взгляд на солдата. Тот подошёл ко мне, поднял ружьё, перевернул и ударил меня прикладом в уже побитый глаз одним совершенно непринуждённым движением. Расцвела фантастическая боль, ощущение удара разлилось по всему телу, словно произвол, совершённый с моим глазом, одновременно почувствовали большой палец на ноге, ладонь, голень, предплечье, каждая пора, каждый зуб, каждый волосок, мои кости и жилы, каждая часть меня. Боль стала суммой моего тела. Я больше не чувствовал отдельные части тела – всё стало одним. Наэлектризованный воздух завибрировал, я ощущал, как кровь пульсирует и, подгоняемая сердцем, толкается через проходы и коридоры в лабиринте моей плоти. А потом я перестал чувствовать. Поднявшись с пола, снова занял стул, переставший быть неудобным. От удара что-то вывихнулось.

– Рафаэль Авенданьо? – повторил он.

– Да, – сказать было легче, чем кивнуть.

– Добро пожаловать домой, – он отметил что-то на своём планшете.

– Что... – начал я. Сепульведа удивлённо поднял брови на этот мой вопрос. – Что происходит?

– Ах да, не сомневаюсь, у вас есть вопросы, – ответил он. – В Махере в последнее время было беспокойно: в последние дни «сопротивление» проявляло немалую активность, – сняв очки, он вытер их белым платком. – Боюсь, им удалось убить президента Павеса.

Невзирая на боль, я чуть не засмеялся над таким абсурдным заявлением. Павес был социалистом! Большинство считало его союзником, а его племянник был давним пионером социалистического движения. Абсурд!

Но я не стал смеяться и восклицать, сохраняя ничего не выражающее лицо. Сепульведа снова надел очки:

– Сейчас нашим генералам удалось восстановить порядок.

– Кто у власти? – спросил я.

- Мы, конечно же, состоим в совете равных, но старший – генерал Видаль.

- Значит, хунта, – ответил я. Сепульведа нахмурился:

- Я надеялся, что вы как наш гость – прославленный поэт, увенчанный лаврами! – осчастливьте нас более содержательным комментарием. Что ж, – вздохнул он, – начнём с малого. У Алехандры Льямос ведь есть сестра? – спросил он, перелистнув страницу планшета.

«Сестра Алехандры? Зачем им...»

- Отвечайте на вопрос, пожалуйста, – сказал Сепульведа, и солдат шагнул ко мне.

- Да, Офелия, – ответил я. Очень легко пасть, когда вам больно, у вас отобрали одежду и вы испуганы. Именно это я сейчас и говорю себе, а не то, что спросил тогда Сепульведа:

- Где она сейчас?

- Не представляю, – ответил я.

- Она же навещала вас в Санто-Исодоро.

- Она навещала Алехандру, а я сплю с Алехандрой. Она где? – ответил я, прежде чем успел удержаться. Солдат поднял ружьё, чтобы снова меня ударить, но Сепульведа остановил его, едва заметно покачав головой, а мне сказал:

- Вы воссоединитесь в своё время, если будете сотрудничать с нами.

- Я сын Махеры, – заявил я. – Вы не можете меня удерживать.

- Как вы увидите, мы можем делать с сыновьями и дочерьями Махеры что угодно, если они – враги государства или союзники врагов, – ответил Сепульведа, совершил ручкой незаконченное движение и выглянул за дверь: – Маркос, Хорхе, будьте добры дать этому заключённому немножко асадо, но не слишком острого, хорошо? У него есть информация.

– Я не... – начал я, но тут солдат опрокинул мой стул ногой, и я спиной повалился на пол. Очередной вывих, перед глазами всё побелело. Я чувствовал запах патоки, апельсиновой цедры и только что убитого кролика, мой разум приходил к странным выводам. Когда ко мне вернулся дар зрения, солдаты (к первому присоединились ещё два) связали мои руки и подняли меня. Первый сказал остальным:

– La parilla, – то есть жаровня.

Они несли меня вниз по лестницам и коридорам. Я едва помнил себя от изнеможения и боли. Меня принесли в каменную комнату без окон и с голым металлическим каркасом кровати. Здесь воняло фекалиями, мочой, старыми сигаретными ожогами, человеческим потом и чем-то ещё хуже. Глаз и лицо ныли так, будто в глазницу мне вставили тупой нож.

Меня поднесли к постели, срезали с меня бельё и привязали; в мои гениталии тыкали ружьями, о них тушили сигареты, к частям моего тела прикрепили кабели, подключённые к автомобильным аккумуляторам. Сепульведа спрашивал: «Где Офелия Льямос?» и «Что вам известно о местоположении MIR?», но эти вопросы казались бессмысленными – подполковнику будто было всё равно, что я отвечал. Я рассказал ему всё, что знал, то есть ничего, и кое-что, чего не знал – например, где, как мне казалось, могли быть партизаны MIR. Сепульведа усердно записывал всё, что я говорил, и потом приказывал им причинять мне ещё больше боли: вставлять предметы в мой анус и пенис, низвести меня до мяса и ниже. Но это – не часть моей исповеди. Сейчас, когда я пишу, я собираюсь говорить не об этом. Всё, что могу сказать о своём опыте на «жаровне» – что-то внутри меня натянулось и порвалось, мой разум и тело разъединились, и само время будто треснуло. Перед лицом боли я стал крошечным, недочеловеком – в этом я теперь походил на своих палачей.

Это продолжалось бесконечно, часами, зонами. И я ощутил нечто иное – что-то висело в воздухе, какой-то тёмный, пульсирующий туман, будто тучи над морем перед бурей или облака над вершинами Анд. В комнату просочилась сущность-галлюцинация, и на миг показалось, будто она меня увидела и узнала.

Но ничем не помогла.

В конце концов они остались разочарованы. Сепульведа приказал солдатам облить меня водой (я обгадился не один раз), они отнесли меня в тот кабинет и бросили на пол. Прошло много времени, прежде чем я смог двигаться, но тело хочет жить, даже когда разум покорился отчаянию и покинул телесную оболочку. На покусанном блохами шерстяном одеяле лежали корка хлеба, огрызок яблока и пакет из-под молока, наполовину наполненный водой. Всё это будто нашли в мусорном баке в подворотне Сантаверде, но я съел хлеб, выпил воду, на вкус напоминавшую кислое молоко, и обгрыз остатки яблока до черенка и косточек, а потом завернулся в одеяло. Значительная его часть была липкой, и шерсть пахла мертвыми существами, о чём я не хочу думать даже сейчас, но мне стало достаточно тепло, чтобы я мог вскоре уснуть.

Когда меня разбудили, это вернулся Сепульведа с другими солдатами. Он задал мне два вопроса – «Где находится Офелия Льямос?» и «Что вы знаете о местоположении партизан сопротивления?» – с тем же безразличным выражением лица, игнорируя возражения о моей невиновности.

– Его глаз на вид плох, правда? – спросил Сепульведа у солдат. Те замычали в знак согласия. – Да и всё остальное не лучше. – В ожоги от сигарет на моей груди, ногах и гениталиях проникла инфекция, и теперь они текли. – Принесите ему одежду. Просто потому, что не хочу смотреть на его голое тело, – приказал Сепульведа.

Один из солдат вышел и вернулся с получистой парой льняных штанов и шерстяной туникой. Моё тело с трудом шевелилось – оно всё состояло из боли и дергалось, как несмазанный механизм, – но мне всё-таки удалось одеться под непреклонным взглядом Сепульведы и его солдат.

– Сегодня, Рафаэль Авенданьо, вы станете свидетелем, – сказал подполковник.

Они повели меня через здание в другую комнату, не ту, что с «жаровней», но столь же полную ужаса и отчаяния. Сначала они поместили в бочку, стоящую на металлической решётке, молодого человека, студента. Внизу алчно щебетали крысы, капала вода. Студент бился и сопротивлялся, но в конце концов скользнул в бочку, как змея в сточную трубу. Через край перелилась чёрная вода, и молодого человека вырвало. Один из солдат натянул резиновые перчатки и сунул его голову в гнусную жидкость – по запаху я понял, что это человеческие отходы. Меня стошнило.

Затем начался допрос.

Они упомянули его имя. Если бы я был в более ясном уме, или если бы неумиряющая часть меня была сильнее, я запомнил бы его, высек его имя у себя в памяти, как в граните. Но я трус. Я забыл его имя, как и всё остальное, кроме его боли.

Он был лишь первым. Другого мужчину отвели на «жаровню»; другую женщину подвесили, будто тушу в морозильной комнате ресторана. Другую женщину они...

Нет, не могу об этом думать. Не могу думать о них.

Я недостаточно силён.

Они пытали меня снова и снова, а в промежутках заставляли смотреть.

Я не знаю, что они сделали с Александрой, а если знаю, теперь не могу достать это знание из дворца своей памяти.

Эти двери я запер.

Когда вы лишены солнца и низведены до недочеловека, время меняется – расширяется и сужается. Оно идёт, и вы понимаете его ход, но так, как понимает животное – температура падает, значит ночь; ваше тело, как море, отвечает на движения луны. Вы существуете вне времени, в околоремени: это фермата, вечно затихающая нота, это миг, когда волна застывает, готовясь разбиться, когда воробей падает в воздухе. Все мгновения теперь особые, они обрушились друг на друга. Боль – это дверь в околоремя.

Я бредил и лишился речи. Солдаты забирали меня из камеры и вели к ужасам, или к мгновениям боли – я перестал понимать, что было хуже. Кажется, они перестали задавать мне вопросы. А может, я перестал их понимать.

А затем явился он.

* * *

Не знаю, как долго он говорил, прежде чем его слова просочились в моё сознание. Я лежал на полу под рваным и зловонным одеялом, он сидел на стуле за столом. Мой глаз распух ещё сильнее и требовательно давил на череп. Что-то было не так. Мне хватило рук и кончиков пальцев, чтобы удостовериться: без врача я, возможно, больше не смогу видеть.

Возможно.

Перед ним лежали бумаги, в руке он держал листок. На потолке ярко горела лампочка, а он держал листок так, что тень от бумаги падала мне на лицо, и когда я поднял взгляд на незнакомца, листок засиял, я увидел слабые очертания чернильных слов на другой стороне и каким-то образом понял, что написал их я.

– «...от кончиков их копий до эфесов их мечей, от их недобрых намерений до жестоких мыслей поднимается сильный запах. Кровь взывает ко крови, зло требует зла; болью и жертвоприношением мы привлекаем взор незримых глаз: за звёздами шевелится титан. Убийство и кровопускание – такой сладкий, манящий аромат. Боль становится фимиамом, жертва – маяком». – Он замолчал и отодвинул бумагу, так что свет упал мне на лицо. Боль взорвалась сложным фракталом с миллиардом слоёв, будто от физического удара. Я содрогнулся и закрыл глаза.

– Вы теперь со мной, сеньор Авенданыо? – спросил он низким, богатым голосом. Если бы он захотел, то мог бы петь, поступить в хор. – Пожалуйста, присоединяйтесь. У меня для вас вода и, если можете выдержать, вино. Аспирин. Еда.

Даже если он лгал, я, по крайней мере, увидел бы, насколько он лжёт. И что-то в нём было неправильным, косым.

Американец.

Не знаю почему – может, из-за пыток в то обрушившееся время, благодаря которым удалось меня поработить, – но он приводил меня в ужас. Сепульведу я боялся, но в этом человеке я чувствовал свой конец – концы всего. Может быть, из-за его акцента или отсутствия акцента: он легко, как прекрасно

образованный человек, говорил по-испански. Идеальное произношение и раскатистый звук голоса не сходились с доступной мне визуальной информацией – то и другое казалось отдельным. Возможно, это было последствием пыток: повреждения нанесли не только моему глазу, но и ушам. Я превращался в разрозненное собрание увечий, причинённых органам чувств. Его голос был повсюду, позади меня, внизу, вовне. Я ничего не понимал – что пугало, ведь для меня язык был всем.

Я не знал, существую ли ещё в том обрушившемся времени. Всё двигалось медленно. Я оттолкнулся от пола, и мне показалось, что я медленно перехожу Мапачо вброд – вода стремительно бежит, набрасывается, пытается унести меня в море, в бескрайнюю солёную пустыню, в небо, полное акул.

Теперь в камере был ещё один стул – наверно, его принесли солдаты Сепульведы. Но ни его, ни его подручных нигде не было видно.

– Садитесь, – сказал незнакомец и указал на стул. Я сел, не сводя с него глаза.

Он оказался красивым мужчиной в очень хорошем синем костюме, безупречно белой рубашке и кроваво-оранжевом галстуке. Из кармана пиджака выглядывал выглаженный платок, образуя элегантную геометрию костюма. Лицо его ничем не выделялось, пусть и было несколько угловатым. Он носил очки на размер меньше, чем надо; тёмные напомаженные волосы зачёсывал на затылок, открывая лоб. Синеватый оттенок гладко выбритой челюсти говорил, что, если бы он отрастил бороду, она оказалась бы очень густой. Когда он потянулся в карман пиджака за сигаретами, на запястьях блеснули отполированные ониксовые запонки.

– Меня зовут... – сказал он, зажёл сигарету и протянул её мне. Взяв горящий предмет в руку, я не сразу вспомнил, что это. Незнакомец подтянул и поставил между нами поднос с тарелкой, графином вина и небольшим кувшином воды. – ...Уилсон Клив. Я посланник.

Я огляделся – в комнате не было никого, кроме нас с ним. Я представил, как встану и перережу ему горло. Разобью кувшин ему о голову и перережу горло осколками стекла. Собью с ног и буду бить ногами по голове и шее, пока он не умрёт. Я подумал, смогу ли я сделать хоть что-то из этого.

Теперь я думал, что могу.

Мой взгляд метался по комнате, в моём уме вставали призраки насилия, а он, откинувшись на спинку стула, рассматривал меня. Затем, налив воды в стакан, он сказал:

– Понимаю, вам беспокойно. Начните с этого.

Мысль принять от него что-либо вызывала омерзение, но я всё равно выпил. Потом положил в рот еду и обнаружил, что теперь у меня гораздо меньше зубов. Один из них треснул и торчал осколками из раздражённой десны, царапая язык. Я стал пить вино, стараясь не обращать внимания на боль, а Клив безучастно смотрел.

Когда я закончил, он предложил мне ещё сигарету. На этот раз я молча закурил. Так мы сидели, казалось, очень долго, но, как я уже сказал, в подобных местах и обстоятельствах время сужается и расширяется.

– Теперь вы будете себе отвратительны, – сказал Клив.

– Кто вы и чего вы хотите? – с трудом произнёс я. Даже теперь с моего горла изнутри будто содрали кожу – я сам не знал, от крика это или от жажды. Крупные участки моего разума были совершенно пусты.

– Моя задача – связь, – Клив пожал плечами.

– Вы сказали «посланник». Американского правительства?

Клив чуть склонил голову, будто мы играли в угадайку, и он сообщал, что я частично угадал. В детстве мы с двоюродными братьями прятали друг от друга вещи и бегали по дому с криком «Caliente!»[7 - Горячо (исп.)], если игрок был рядом со спрятанным предметом, и «Frio!»[8 - Холодно (исп.)], если удалялся от него. Найдя эту вещь – игрушечный пистолет, волчок, конфеты, журнал, – мы визжали от смеха.

Склонённая голова Клива означала «caliente».

– Армии? – спросил я снова.

Он поджал губы и едва заметно покачал головой.

– Central Intelligence Agency, – сказал я по-английски, вспомнив правительственную контору, на которую работал американский коллега Джеймса Бонда (Феликс... как его звали?). – ЦРУ.

Клив улыбнулся, выпрямился и положил между нами бумаги, которые читал вслух, когда я пришёл в себя.

– Неважно, какая аббревиатура сопровождает мою задачу, – сказал он, выпрямляясь – странное движение, будто он отодвинул плечи назад. Свет над нами мигнул и снова зажегся – скачок напряжения. Электросеть в Сантаверде тогда была ненадёжной, хотя о том, что мы в Сантаверде, я узнаю наверняка только позже. На лице Клива мелькнуло странное выражение, и он сказал:

– Если вам так удобнее, считайте меня посланником внешней бригады.

– Внешней бригады? Что это?

– Вы прекрасно знаете, сеньор Авенданьо. Вы уже давно посылаете нам отчаянные сигналы.

– Не понимаю, о чём вы говорите.

– Что вы можете рассказать мне об этом? – он постучал по бумаге. – Вашем «Маленьком ночном труде»?

Определённо, он был мастером дезориентации – я сразу обратил внимание на бумаги передо мной, листы, отпечатанные на машинке, знакомые глазу и руке. Я взял один из них. Он поднял свой портфель с пола рядом с собой, положил на стол и открыл защёлки со звуком, звонко отскочившим от каменных стен.

Клив непринуждённо бросил на стол стопку фотографий – это были фото Анхеля Илабаки из Санто-Исодоро, из дома, который мы с Александрой снимали там. Он не поленился убрать порнографические фото и оставил только копии «Opusculus

Noctis», но я уже не понимал, какие из них больше провоцируют.

– Об этом, сеньор Авенданьо. О вашем шедевре.

– Чепуха. Старая мерзкая чепуха. Проявления «Ид» из тех времён, когда мир ещё не знал, как оно называется, – ответил я. «Старая мерзкая чепуха» – стоило мне это произнести, я понял, какая большая часть моей жизни, карьеры – моей поэзии! – была старой мерзкой чепухой.

– Ах вот как, – сказал Клив, поднимаясь. – Не знал, что вы так интересуетесь модной психологией.

Он снова поджал губы, посмотрел на свои ухоженные руки, вытянул перед собой, расправив пальцы ногтями к себе, и убрал что-то с кутикулы, затем его внимание сменило фокус, и он снял с костюма ниточку. Костюм был отличный. Были времена, когда я спросил бы его, где он взял такой.

– Закончите перевод, и больше вам не придётся быть свидетелем пыток. Ни вашему глазу, ни вашему телу, – сказал он, подошёл к двери и постучал в неё. Открыл солдат. Клив подал ему знак, и солдат внёс два блокнота и карандаш, лежащий на них.

– Когда нужно будет заточить карандаш, просуньте его под дверь, и его заменят. За каждую переведённую фотографию вас вознаградят, если это будет сделано хорошо, – едой, вином, если хотите водкой. Если пожелаете, даже девушкой.

– Алехандрой, – сказал я.

– Алехандрой? – переспросил Клив и засмеялся. Его смех был совершенно безрадостным, и на миг он показался марионеткой, управляемой кукольником, который находился очень далеко и очень плохо умел подражать человеческим эмоциям. – Боюсь, мы не можем совершить невозможное. Разве вы не помните?

– Что не помню?

– Ц-ц-ц, – покачал он головой. – Мы были недобры. – Едва касаясь пуговиц, он застегнул пиджак и разгладил его спереди, проверяя свою внешность – свой инструмент. Когда он шевелил руками, его белые манжеты бросались в глаза. – Алехандры нет. Но другой женщины будет достаточно. Нет? – Он подождал всего секунду. Я тем временем смотрел на свои руки, пытаюсь вспомнить. – Переводите, сеньор Авенданьо, и вас будут кормить. Возможно, мы даже найдём доктора, который позаботится о вашем лице – вы, в конце концов, ужасно выглядите.

– Мои очки. Я не могу...

Он щелкнул пальцами и сказал пару слов солдату. Тот исчез и вернулся с жестяным ведром – по-видимому, переносным туалетом – и увеличительным стеклом. Стекло Клив положил на стол, ведро поставил в угол:

– Можете разбить стекло и попробовать наброситься с ним на охранника. Или на меня. Можете попробовать, конечно... но ваши усилия будут бесплодными, – он сунул руки в карманы с такой непринуждённой наглостью, что она осталась едва замечена. С этим заключённым он мог держать себя сколько угодно фамильярно, потому что меня он не боялся и не жалел. Мы просто угодили в один и тот же миг обрушившегося времени.

Клив стоял на фоне дверной рамки, позади него была темнота. Мне казалось, я видел, как во мраке движутся силуэты, но я был измождён, очень слаб, а один мой глаз перестал работать. Когда чувства подводят, разум порождает призраков. И всё же... странные силуэты влажно блистали. Миопия создавала иллюзию горы, окутанной дымом, вдали, за его спиной – горы, едва видной из-за струящихся миазмов. Всё это – огромный, запутанный, холодный массив – двигалось.

Я потёр лицо, стараясь по возможности не задевать распухший глаз, и подобрал увеличительное стекло.

– Если решите использовать его на себе, сеньор Авенданьо, – добавил Клив, – постарайтесь, чтобы кровь вытекла на бумагу. Гораздо больше эффект.

Он отступил во тьму, захлопнул дверь, и я услышал звук задвижки.

* * *

Обрушившееся время расширилось, и пульсирующий туман боли и ужаса несколько сузился. Теперь моё сердце не билось в панике постоянно, разрываясь от крови – по-видимому, человеческое тело не способно вечно поддерживать один и тот же уровень страха. Познакомившись с ужасом, плоть и разум порождают если не презрение, то его усталый, вымученный симулякр.

Остаток своего бодрствования я провёл с фотографиями в поисках места, где прервался мой перевод «Маленького ночного труда», «Un pequeño trabajo nocturno». Я по-прежнему не отличал день от ночи, не помнил, сколько я пробыл в этих стенах, как не помнил, чтобы хоть раз засыпал – только лихорадочные растерянные пробуждения.

Теперь фотографии были жизнью, связью с миром, который я некогда знал. Я нюхал копии, поднося их к носу и вдыхая аромат. Как-то раз они находились в руках Александры, и на них остались её молекулы, микроскопическая часть её. Она смеялась и выдыхала благоуханные пары; возможно, они в воздухе превратились в капельки воды и осели на глянцевой поверхности. Как-то к вечеру мы занимались сексом в кабинете, на ковре в тени книжного шкафа, где рядом были фото; окно было открыто, моё дыхание и её стоны смешивались с криками чаек над волной. Капли с её женского естества испарились и опали поблизости микроскопическим дождём. Я вдыхал... но совершенно её не чувствовал. «Разве вы не помните?» – спросил меня Клив, и за это я его ненавидел. Этот вопрос был хуже, чем ожоги, электрошок, все пытки, которым они подвергли моё тело.

Этот вопрос причинял мне боль, даже когда Клив исчез.

* * *

«Sobre el excremento y sus usos» – «Об экскрементах и их использовании»...

Одноглазое существо, склоняющееся над фотографиями, щурясь сквозь моноклеподобное стекло.

«La madre venenosa se convierte en regente» – «Ядовитая мать вступает на трон».

Переведя одну фотографию, я вырвал исписанные от руки страницы из блокнота и просунул их под дверь. Через несколько минут задвижка загремела и отодвинулась с деревянным «стук», вошли два солдата и поставили на стол поднос с двумя варёными яйцами и бутылкой вина. Выпив вино и запихав в рот яйца, я принялся бродить по камере и кричать на стены, пока мог стоять.

«Los grados variantes de sacrificio» – «Различные степени жертвоприношения»...

Понимание божественного через вычитание. Я умолял стены о сигаретах и о новой дозе вина, но никто не отвечал – ни Клив, ни Сепульведа, ни солдаты. Я сел за стол и стал мучиться над особенно отвратительным отрывком на латыни. Затем, встав на окровавленные колени, я приложил рот к щели под дверь и хрипло стал умолять о латино-испанском словаре. Дверь не открылась.

Напрягая свой засохший мозг в поисках спряжений и определений слов, я смог-таки продраться через отрывок. На этой фотографии оказалась тень, закрывшая половину смятой страницы «Opusculus Noctis» – как я решил, её отбросил фотограф. Время от времени я задумывался, что на нём было надето и что лежало в его карманах – балийские сигареты? Фляжка с «Гленливетом»? Бумажник с американскими долларами? Или бельгийскими франками? Может, в бумажнике лежали фото – он ведь всё-таки был фотографом? Может, с кусочка фотобумаги размером с марку улыбалась его жена в фартуке, или пухлый, кругленький ребёночек с щёчками как яблочки? Знал ли он вообще, что фотографирует?

Кисть руки стоила больше пальца, вся рука больше, чем кисть, одно яйцо – меньше, чем сам фаллос, но больше, чем ухо. Пара яиц стоила большой силы; очень дорогими были губы и нос – средоточия чувств; глаз являлся почти титаническим. Сердце, голова или весь набор гениталий – ягоды, ветви, корень и ствол – попирали их всех. Но только если у вас не было... субъектов. «Pretium»[9 - Цена, ценность (лат.)]. Как приготовить хлеб, если нет муки? – отрезать палец: этот рецепт приводил автора в великую печаль. Закончив, я не стал даже переписывать стихи начисто, без вычеркнутых вариантов начала предложения или подбора значений к словам, насчёт которых не был уверен. Я просто вырвал страницы из блокнота, просунул их под дверь и стал ждать.

На этот раз – графин вина и небольшая бутылка водки; пачка американских сигарет «Пэлл-Мэлл» и пять термоспичек; жестянка с сардинами, упаковка с

крекерами, вялый апельсин, бумажные салфетки; латино-испанский словарь. Поглотив всю еду, я начал яростно и продолжительно курить одну сигарету за другой и хлебать водку.

«La voz de los muertos» – «Голос мёртвых»...

Мёртвые лежат инертно, как камни, и ждут, пока их поднимут. Куда бы они ни шли после жизни, это долгий путь, так что при правильном «pretium»'е они могут ответить на ваши вопросы. В общем и целом, разговоры с мёртвыми – вопрос товарных отношений, всего-то: палец руки или ноги, пол-литра крови, правильные слова, сказанные с правильными намерениями. Хотя есть сноска – предложение, обведённое кровью, – что намерение выше произнесённого заклинания.

Прежде чем я успел закончить, открылась дверь. Вошли солдаты, Сепульведа и ещё один человек с чёрной кожаной сумкой, которого я не видел до сих пор. Солдаты схватили меня за руки и прижали к полу. Новенький с безразличным лицом вынул шприц с длинной иглой, наполнил жидкостью из пузырька и вонзил мне в руку. Казалось бы, после всего, через что я прошёл, я не должен был и дрогнуть. Они раскрыли мне рот, запихали мерзкие на вкус пилюли и зажимали мне челюсти, пока я не был вынужден сглотнуть. Доктор трогал мой глаз холодными пальцами, пока я пытался вырваться из лап солдат.

– Puede que nunca vuelva a ver fuera de el, pero no lo perdera,– сказал он: «Может, больше не сможет видеть им, но глаз останется на месте». – Sin sangrado en el cerebro.[10 - Кровотечения в мозг нет (исп.).]

Доктор похлопал меня по голове, будто я был хорошим пёсиком или милым послушным ребёнком. Солдаты позволили мне встать. У меня остались сигареты, но закончились спички, а они проигнорировали мою мольбу об огне, как олимпийцы, пока Прометей не похитил пламя для людей.

«La dulce bruma del dolor» – «Сладостные миазмы боли»...

Мы – куски мяса в водянистом бульоне, свечи из сладкого сала, ждущие, пока их зажгут. Удовольствие делает нас глупыми, инертными, отупевшими, только боль зажигает фитильки. Свет и запах боли – чем больше она, тем лучше – привлекает внимание всемогущего, чудесного, бескрайнего и бесчисленного.

Это блаженное трение между зловонным потоком боли и намерением посредников и посланников и извлекает миазмы.

Я гадил в ведро и подтирался бумажными салфетками; от вони меня тошнило и рвало. Я поражался тому, как мало привык к неудобствам, невзирая на своё положение. Из-за зуба, который раскололи на «жаровне», всё тело содрогалось от боли: доктор Клива его пропустил или, скорее, наплевал на него. Я кричал на стены, точно сумасшедший бомж, *despose?do*, требуя зубного врача, массажистку, ортопеда, офтальмолога и хохотал.

Никто не пришёл.

«Las manos de los fantasmas» – «Руки погибших»...

Под дверь. Ждать.

Никто не пришёл.

«El se?uelo de la inocencia» – «Притягательность невинности»...

Под дверь. Тишина. Ничего.

«Sobre el poder del incesto» – «О силе инцеста»...

Я перестал переводить, скомкал фото, отбросил их и заорал, что отказываюсь дальше переводить. Потом сжался в комок под столом, осознавая свою трусость – ведь я не разорвал фотографии на клочки. Я плакал, пока не лишился чувств, а когда пришёл в себя, увидел только полнейшую тьму. В остатках мозга тут же завертелись вопросы: я спал? Может, время обрушилось окончательно? Когда ко мне снова вернулся рассудок, я встал на ноги – повсюду чернота. Я потрогал лицо – может, второй глаз тоже распух и закрылся? Но, оказалось, повреждённому глазу стало лучше: вздутие уменьшилось, так что теперь я ощущал края своей глазницы. Я сделал шаг, наткнувшись на что-то большим пальцем.

Во тьме нет времени – лишь один-единственный затянутый миг, когда некогда вздохнуть, и он длится вечно. Я стал дышать и отсчитывать в такт моей

поднимающейся и опускающейся груди, пока не досчитал до тысячи. Потом задержал дыхание, надеясь услышать шаги в коридоре за дверь. Раздался крик какого-то несчастного на «жаровне», дав мне понять: я всё ещё жив и на земле.

Ничего.

Не знаю, сколько времени я так провёл – пять минут? Месяц? Всё вывихнулось. Я искал вслепую границы комнаты – нащупал углы и дверь, собрал с пола смятые фото и сел обратно за стол.

Найдя на ощупь блокнот, карандаш и одну из фотографий, я произнёс в пустую темноту:

– Теперь я вернусь за работу.

Свет снова зажегся.

«Un pasaje a los sueños», «Путь во сны»...

Есть и иные места, освещённые иными солнцами. Миры, населённые плотью – это дворец, вилла со множеством комнат. Отдав правильный, наиболее дорогой pretium, пожертвовав частью себя, можно распространиться в далёкие залы и галереи. Намеренно закрыть себя для мира живых в акте самоотрицания. Пожертвовать сидалищем одного из чувств.

Я испытывал единственный выход, прислушиваясь, пытался снизу заглянуть в коридор за дверь, но не слышал патрульных. Я как будто был один в здании.

– Клив, – сказал я. – Нам надо поговорить.

– Не сейчас, поэт, – немедленно ответил шёпот по другую сторону двери, так близко. – Вас ждёт незаконченная работа.

«El emisario requiere un recipiente», «Посланнику требуется сосуд»...

Чтобы пересечь ночь, нужно подготовить, выбрать и отметить путь. Он привлечёт к себе слуг и разорвёт покрывала. Первая сделка.

«El mar se convierte en el cielo», «Море становится небом»...

Прилив набегают и хлещет берег. Горы под волнами обретают свободу и меняются местами с небом, с тьмой меж звёздами. Всё сорвётся с цепи. Я вырвал из блокнота последние страницы, подошёл к двери и просунул их в щель.

Задвижка немедленно стукнула, дверь открылась, и я увидел Клива, всё такого же свежего.

– Идёмте.

* * *

Я следовал за ним по зданию. Солдат я не видел, но Клив обладал такой властной и отстранённой аурой, что я и не подумал на него напасть. Вместо того чтобы идти по коридорам вниз, он повёл меня сквозь миллиарды звёзд, всё выше и выше, пока я не вошёл в мир серо-синих потёмок. Мы оказались в каменном патио высоко над городом – Сантаверде. Сзади возвышались горы. Безжалостный ветер с моря гнал по небу обрывки туч. Было холодно. За стенами стояли сумерки, но я всё равно яростно замигал глазом от света.

– Поэт, – сказал Клив, – вы хорошо поработали, хотя ваши ранние переводы бывали лишены изящества. Тем не менее, мои партнёры довольны.

– Ваши... Американский президент? Никсон?

– Нееееееет, – протянул он и засмеялся. – Даже у моих начальников есть господа, и они, уверяю вас, более чем удовлетворены. Пока.

Что-то в этих словах одновременно успокоило меня и встревожило.

– У меня есть место для человека с вашими... – Я думал, он скажет «слабостями», но нет: – ...талантами.

– А что Алехандра? Можно, она... – начал я.

– Рафаэль, – сказал Клив, достал зажигалку и сигарету, которую зажёл, прикрыв ладонью, глубоко затянулся и предложил мне. – Можно звать вас Рафаэль?

– Мне всё равно, я хочу только...

– Боюсь, Алехандра мертва. Мне очень жаль, что все произошло так, как произошло, и надеюсь, вас не слишком травмировало...

– Травмировало? Что? Что могло меня травмировать?

– Вы не помните. Это можно понять: для нашей работы характерна некоторая... – он вытащил другую сигарету, но не стал зажигать, а указал фильтром в точках пепла на Сантаверде: – ...побочная амнезия.

Город развернулся под нами, как карта на столе. Небо было тёмное, и я не понимал, ночь стоит или день. Огни города светились хрупкой электрической сеткой, внутри которой лежали большие лоскуты сине-чёрной темноты. Горели костры, от которых поднимались кривые колонны тёмного дыма. На определённой высоте их перехватывали порывы ветра, срезая верхушки султанов. Над городом колыхался туман.

– Что произошло с Алехандрой? – спросил я. – Что вы сделали?

Нет ответа.

– Что я сделал?

Подойдя к краю патио, Клив опустил руки на каменную стену ему по пояс, оглядывая Сантаверде:

– Видите, да? Туман. Вонь.

– Миазмы, – произнёс я бездумно.

– Да, – ответил Клив, – да! Чудесно, правда? Подумайте, сколько страданий. Мы почти у цели.

Он щёлкнул пальцами, что-то изменилось, и мир накренился: теперь стало светло – над нами сияло водянистое солнце. Я слышал гудки машин и треск – кажется, выстрелы; в воздухе воняло канализацией и горящими автомобильными шинами. Мы вышли из обрушившегося времени, и чары миазмов исчезли – на миг. Клив развернулся:

– Сепульведа.

Подполковник стоял в ожидании у прохода, из которого мы вышли; по его бокам – двое солдат. Он сказал:

– Сеньор Клив, вертолёт готов.

– Идеально. А канистра с зарином?

– На борту. Установка на севере готова.

– Прекрасно. – Он снова повернулся ко мне: – Что скажете, Рафаэль? Вы со мной?

– Я не... Я не знаю, что...

Клив позволил себе ухмылку:

– В этом месте я должен пообещать вам кое-что – что-то, чего вы хотите, – а вы должны поддаться искушению.

– Алехандра, – сказал я.

– Всё, кроме этого, – вздохнул Клив. – Её не вернуть. Тем более для вас, после того что вы сделали. В случае любого другого человека мы могли бы... – он замолчал, задумавшись, – ...что-нибудь придумать. Вашу мать, одну из сестёр? Нет? Мне очень жаль, – он пожал плечами, – но мы связаны определёнными правилами. Рука, которая убивает, не может быть рукой, которая воскрешает, – он дал знак охранникам. – Подумайте об этом, Рафаэль. У нас ведь есть время? –

Он глубоко втянул воздух в ноздри: – Внутри миазмов у нас бесконечно много времени. – Он зажёл сигару. – Заберите его в камеру, дайте еду и питьё. Позвольте ему подумать. Да, Рафаэль? Вы ведь подумаете насчёт моего предложения?

Солдаты смотрели на меня с подозрением. То ли из-за растерянного и ошарашенного выражения моего лица, то ли оттого, что я пошевелился лишь тогда, когда они подняли ружья и стали толкать меня назад к вилле.

«Рука, которая убивает, не может быть рукой, которая воскрешает».

Что я сделал?

Что они со мной сделали?

В камере, как только исчезли охранники, я обнаружил, что фотографии манускрипта оставались на месте. Возможно, они позабыли их убрать – ещё одна дорога к пыткам. Очевидно, фото были ценны для Клива, а я благодаря им оставался живым и полезным.

От ненадёжности моей роли здесь становилось дурно, но я всё равно съел еду и выкурил сигареты, сделал вид, что сплю, но потом и правда заснул. Часов не было, я не мог следить за временем и не видел признаков того, что Клив или солдаты наблюдали за мной в камере. Я покинул миазмы и обрушившееся время пыток и решил, что пугающее присутствие Клива, его надзор прекратились. Я поднял фото, о котором думал с того момента, как посмотрел вниз на Сантаверде и на густой туман, поднимающийся под тёмными небесами.

«Un pasaje a los sueños», «Путь во сны».

«От путников до оседлых – pretium велик для всех: для богатых плотью – это чаша крови из возлюбленного дитя, девственная плева, проколотое ухо; для нищих плотью – яйцо, яичник, око – не меньше. In girum imus nocte et consumimur igni – ночью мы вращаемся, и нас пожирает пламя».

За этим следовали бесконечные строки, плывущие перед моими слабеющими глазами: отметки, арамейский, греческий, гностические символы, грубые

рисунки кровью – повешенный ребёнок, мужчина, подмявший под себя девушку, игла в ухе, кинжал в глазе, окровавленные фаллосы, скользящие в обнажённом мясе, языки, раздвоенные до самого корня. Изображения на фотографии извивались и плясали.

Я встал, взял увеличительное стекло и бросил на пол. Медное кольцо вокруг стекла звякнуло и сломалось, пружина внезапно ослабла, само стекло запрыгало по полу, как брошенный камушек, и ударилось о стену. «Ранено, но не сломлено». Я воображал, что от удара оно разобьётся на осколки, но стекло оставалось целым. Я схватил его, положил на пол, приподнял стол за ножку, подтолкнул стекло под неё ногой и отпустил. Металлическая ножка обрушилась на стекло – я думал, от него останутся острые как нож осколки, но от удара оно обратилось в пыль.

Я зарыдал и бил стол, пока не разбил руки, кричал и царапал дверь, пока пальцы не стали кровавыми лоскутами, пил водку и месил кулаками призраков, рычал, выкрикивая имена Клива и Сепульведы, проклинал бога, проклинал себя, звал Алехандру, звал хоть какое-то воспоминание о том, что меня заставили с ней сделать.

Мой разгорячённый взгляд упал на медное кольцо, в котором некогда было увеличительное стекло. Я поднял его и потрогал конец большим пальцем.

Труднее всего было оттянуть вниз распухшее нижнее веко, чтобы просунуть медный край под глаз и в глазницу: ему настойчиво сопротивлялись крепкие сухожилия и ткани. Вот затылочный гребень; хлестала кровь, ткани расползались, рвались сосуды и капилляры... Снова и снова я повторял нужные слова, произносил их и так, и задом наперёд. Нарастал шок от боли, меня зашатало, я накренился вперёд, и перед здоровым глазом выскочил пол; я шатко выпрямился, проникая медью в глазницу. Мягкий влажный хлопок – и глаз выпал, болтаясь на окровавленной нити. Затылочные нервы умирали, и в мозгу плясали искры и вспышки. «Смогу ли я видеть через эти омертвевшие концы?» Лампочка над головой замигала и погасла. Я положил окровавленный глаз на стол – пусть зловеще смотрит на каждого, кто войдёт. Боль исчезла. Я опустил взгляд – кровь ярко контрастировала с белой как мел кожей. Шок. «Я стал призраком». Стены трудно было рассмотреть. В камере было темно, но тьма была не кромешной – в ней висел мерцающий, пульсирующий туман, будто след от призрака. И... дверь оказалась открыта.

Я взял фотографии бледными неверными руками, прижал к груди и прошел через дверь, в далёкие земли за ней, где вдали поднимались горы.

Я шёл сквозь земли, о которых и сейчас не могу рассказывать – странные земли с невозможной геометрией и гнусной аркологией[11 - Аркология – архитектурная концепция, учитывающая экологические факторы при проектировании сред обитания человека.], неподвластными моему разуму. Не знаю, сколько я там пробыл, сколько бродил по этим землям, но когда ко мне вернулось сознание, я почувствовал на себе грубые руки, вытаскивавшие меня с холодного чёрного берега Мапачо.

* * *

Рыбаки подняли меня с земли, вытерли кожу грубыми шерстяными одеялами, разогнули мои замёрзшие пальцы вокруг стопки фотографий. Несколько дней язык мне не подчинялся: от близости к миазмам я вновь лишился дара речи. Меня отнесли в их рыбацкую деревню у моря, и ветеринар молча лечил останки моего глаза. Он уже видел таких же мужчин и женщин, как я – кости, обглоданные государством и отрыгнутые псами хунты и слугами Видаля в воды Мапачо или Паласа, когда от них уже не было пользы. Местные – рабочие, стивидоры, рыбаки – говорили мне: «Вам повезло, что выжили». Эти рабочие баловались социализмом, но никогда не брали в руки книги и не посещали собрания; среди них были свежи мрачные воспоминания о кончине Павеса.

Они отвели меня в свои дома, к своим жёнам и детям. «Это Авенданьо? Тот самый?»

«Не знаю. Как-то видел его по телевизору – тогда он был толще».

«Не может быть, это не Авенданьо – посмотрите на его лицо».

«Иисус Мария, как они ненавидят поэзию. Пиночет убил Неруду, Видаля изувечил Авенданьо. Неужели они выведут из мира всё прекрасное?»

«Конечно, не Авенданьо – быть того не может. Посмотрите – он еле жив».

«Это не Авенданьо».

Я им не был. Авенданьо больше не было. Тот горделивый мот и транжира погиб в своей камере.

Обретя дар речи, я отправил местных в свою старую квартиру возле университета за чеками и деньгами, которые там остались. Они вернулись с чеками, без наличных, и с целым шкафом одежды. Видалю и его генералам не хватило сообразительности конфисковать вещи врагов государства – по крайней мере тогда. Я сказал местным, что готов отдать всё моё, если что-то им приглянется, и оставил им целое состояние. Они засмеялись и кормили меня в своих маленьких домах жарким из ягнёнка, лососем и наливали вино в надтреснутые стаканы. Снаружи звало море, напоминая мне обо всём. Хунта и Видаль, казалось, остались далеко-далеко.

Меня одели в грубый костюм рабочего и погрузили на грузовой корабль, трюмы которого были набиты медной проволокой: он шёл в Кейптаун, потом в Нуакшот, потом в Лиссабон. Все эти бродячие дни, проведённые в море, я думал: может, я по-прежнему оставался в миазмах? Может, я их не покидал?

Наконец я нашёл берега потеплее.

Теперь у меня всё в порядке. Деньги моей семьи – всю свою жизнь я ни в чём не нуждался – мне перевели сюда. Мои издатели знают, что я до сих пор жив, но кроме них – мало кто. Почти все контакты с Махерой я оборвал – зачем их хранить? У Видаля длинные руки. Я не смел возвращаться домой, не смел снова издаваться. Не думаю, что я теперь могу сочинять.

Поэт видит то, что преподносит ему мир, во всей его чудесной странности, и озвучивает это. На мир и всех, кто по нему ходит, мы смотрим откровенно и описываем их беспощадно. Там, в камере на горном склоне, я лишился не только глаза – гораздо, гораздо большего.

Манускрипт останется тайной, пока не придёт время, чтобы всё стало явным.

Я доволен – насколько могу быть доволен.

Некоторые знания исключают счастье. От некоторых знаний невозможно действовать. Я провожу свои дни в попытках, насколько могу, испытывать

удовольствие: они полны креветками с чесноком, полентой и прекрасными богатыми винами, а мои ночи полны благоуханного дыма, писко, сладостей, негромкой музыки и ароматом Альборана.

И забытыми снами о том, что сделал я и что сделали со мной.

Прости, что я забыл твоё имя.

Прости, что я забыл.

Прости меня, Алехандра.

5

Око был определённо безумен – возможно, причиной данного конкретного психоза оказался стресс изгнания. Мы, выходцы из Махеры, все склонны к паранойе благодаря либо опыту, либо необходимости. Эта рукопись – по-видимому, единственное, что Авенданьо написал после переворота – была тому свидетелем. Больное воображение автора одновременно впечатляло и вызывало отвращение. Увечье, которое понёс его глаз во время переворота Видаля (в это, по крайней мере, я верила – в увечье), могло привести к инфекции, достигшей мозга и исказившей восприятие реальности, породив беспорядочные толпы образов: части тела, кровь, гнусности, потеря, вина, увечья, фекалии, светотень, пища. Едва дыша, я поражённо читала, торопясь вниз по тёмным тропам среди мучительной психической боли, достигающей уровня порнографии, и чем дальше, тем больше росло жуткое осознание безумия: если его не осознавал автор, то определённо осознавала читательница – я.

Один только стресс от жизни в бегах сломал бы большинство мужчин и некоторых женщин. Время, проведённое в лапах тайной полиции Видаля, разбило Авенданьо и оставило с бременем вины, которое он мог и не заслуживать – это оставалось неясным. Чем дальше я погружалась в его исповедь, тем более мутной она становилась, но, невзирая на всё это, благодаря ей я начинала догадываться, что могло произойти с моей матерью. И за это я была благодарна, какую бы боль это ни принесло.

Одно мне стало ясно – нельзя было бросать и забывать Авенданьо. Если бы я оставила его на милость судьбы, которую он найдёт, ослабев от безумия, я отказалась бы от последнего права вернуться домой. Авенданьо оказался заразой – много лет я не думала о родине, а теперь лишь она занимала мои мысли. Непрошеной вернулась мать, а отец – каким он был, пока не спился – смешался в моей голове с Оком. Авенданьо растворится в забытых землях, станет очередным не лицом. Ради собственного психического здоровья я не могла это допустить.

Я должна была найти Авенданьо и помочь ему.

* * *

Клаудия не звонила.

Семестр приблизился к неизбежному концу: курсовые, отметки, ноющие студенты, пустота в деканатах и столовых и наконец – кампус, опустевший на короткие две недели, пока всё не начнётся заново. Я пришла к решению насчёт Ока. Он так и не связался ни со мной, ни с банком. Что-то нужно было делать.

– Мне нужно взять отпуск, – сказала я своему декану Матильде Орес. – Только на лето.

– Вы не вернётесь, – покачала головой она.

– Почему вы так думаете?

– Ходят слухи, у вас появился богатый спонсор. Похотливый старик.

Не знаю, какие преобразования претерпело моё лицо, но декан поняла, что её слова мне не понравились.

– Я возвращаюсь в Махеру. По срочным семейным причинам, – ответила я.

– Махеру? Санта Мария, вы точно напрашиваетесь!

- Мне просто нужно знать, останется ли место за мной, когда я вернусь.

Матильда пожала плечами:

- У вас немного нагрузки, но заменить вас на летних парах будет нелегко. Что за причины?

- Мой дядя умирает, - ответила я. - Рак. Я единственная, кто остался в его семье.

При достаточной подготовке я хорошо вру.

- Мне очень жаль, - неуверенно ответила она.

- Нам всем жаль, - сказала я.

Декан достала официальный бланк Малагского университета для заявления на отпуск и заставила меня сесть и заполнить его. Я подчинилась, она подняла бумагу, осмотрела и положила в конверт, адресованный деканату:

- Студентов, за которых вы отвечаете, придётся передать другим научрукам. Со всеми клубами и группами под вашим руководством тоже придётся что-то делать. Вы входите в магистерские или докторские диссертационные советы?

- Нет, - ответила я.

- Буду откровенна - здесь у вас нет близких друзей, которые вас бы прикрыли. Если бы вас тут любили, преподаватели тут же пришли бы на помощь, но...

- Меня не любят. - Я осмотрела себя: - Я ношу только чёрное и в столовой сижу одна.

- Неожиданный переход... однако это правда, - кивнула Матильда. - Всё, что я могу вам сказать - когда вернётесь, вряд ли место останется за вами. Если вас приходится заменять на одно лето, с таким же успехом можно заменить вас навсегда, - она пожала плечами. - Я мало что могу поделать. Но вы молоды, - добавила она, будто поэтому утраты или перемены действовали на меня слабее, чем на старших. Может, Матильда и была права. - Возможно, замену вам мы и не

найдем, так что будьте на связи. Если у вас с ним всё испортится раньше, чем ожидалось... – Поняв, что она говорит, декан потрясла головой и нервно принялась собирать бумаги и запихивать их в портфель. – Позвоните или напишите письмом. Мой номер у вас есть. – Остановившись, она поглядела на меня: – Вы хороший преподаватель, и я не хочу вас терять, но управление нашим университетом становится всё больше и больше похоже на бизнес. Надо мной есть люди, перед которыми я несу ответственность. Так что... сделаю для вас, что могу.

Затем я направилась в банк:

– Я хочу снять все свои деньги, – сто тысяч песет, которые заплатил мне Авенданьо, и кое-что ещё. Впервые в жизни разбогатев, я ни разу не сумела растратить весь гонорар и всю ежемесячную стипендию.

Служащий отсчитал мне больше денег, чем я видела или держала в руках за всю свою жизнь, я расписалась и пошла домой, прижимая сумку к груди.

В квартире я проверила автоответчик – два звонка и каждый – минута трескучей тишины. Не Авенданьо и не Клаудия. Я удалила сообщения, позвонила в справочное бюро, потом – местному турагенту, спросив о полётах в Буэнос-Айрес. Агент ответила, что спланирует поездку до конца недели.

Тем вечером я обратилась к фотографиям «Opusculus Noctis», которые играли такую важную роль в исповеди Авенданьо. Сравнив свои переводы с цитатами из манускрипта в его записях, я продолжила, сосредоточившись на фото, которое, как я поняла, изображало «Путь во сны» – «дверь» из камеры поэта. Возможно, эта фотография содержала подсказки о причинах безумия Ока – зная их, я поняла бы его мысли. Клаудия до сих пор не позвонила. Я разбирала латынь: «*Quam alibi, ex solis luce refulgens. Caro referta regia mundi et villae multa cubicula iure pretium, pretium clarissimae licet adhuc in atriis gallerys paris...*» «Кроме этого мира существуют и другие. За правильную цену можно ходить из одной комнаты или коридора вселенной в другие. Pretium велик».

Я выложила Томасу (так я теперь называла кота) тунца, налила себе водки со льдом, уселась за кухонный стол и принялась курить в окружении пишмашинок, вглядываясь в фотографии.

Ночь всё ползла и ползла. Я отварила яиц и съела, сварила кофе, но он был безвкусным. Налила себе ещё водки. Взяла телефон, и моя рука застыла над диском с цифрами – я вспоминала номер Клаудии. Наконец повесила трубку, не позвонив. Стала перечитывать отрывки из «Внизу, позади, под, между», посвящённые переводу Авенданьо. Состояние, в котором я пребывала, походило на то, что я испытывала в аспирантуре после долгих исследований без перерыва – бессонница, измождённость и непонимание, где нахожусь. Кроме того, на чём я сосредотачивалась, мозг был совершенно пуст до последней извилины. Я скручивала концы сигаретных фильтров, как кончики маленьких белых сарделек, отрывала, и тогда сигареты становились сильнее обычных – дым обжигал лёгкие при вдохе. Я искала в комнате Ока сама не зная что, вернулась на кухню, а там передо мной лежал «Маленький ночной труд» – и мятые фотографии, и перепечатанный Оком на машинке латинский текст. Водка была на вкус как вода, сигареты, даже без фильтра, – как воздух. «Надо собираться, – подумала я. – Собственно, я и собираюсь. Что мне нужно? Тёплая одежда, сапоги, перчатки, много-много денег. И больше ничего». Я почувствовала духовное родство с Авенданьо, трудившегося, как раб (если это правда случилось), на Сепульведу и Клива, и пребывала в сомнамбулическом состоянии между сном и явью, одновременно ощущая себя бездомной и потерянной, пока в голове теснились правила грамматики и склонения. Я уезжала домой – из дома.

Произнося латинские слова вслух, я перекатывала их на языке, точно горькую пилюлю, а потом торопливо записывала свою передачу этих фраз на испанском. Я стояла посреди реки, а ведь говорят, что в реку нельзя войти дважды. Включив проигрыватель с пластинкой Луи Армстронга и Эллы Фитцджеральд, я, опьянённая латынью, начала подпевать песне «They Can't Take That Away from Me»[12 - Это у меня никто не отнимет (англ.)] на ином наречии. Если кот бродил поблизости или кто-то проходил внизу по улице, они наверняка решили, что я сошла с ума.

Когда в комнате появился силуэт в чёрном, я не заметила: я сидела, сгорбившись, над фото «Пути во сны», нагнувшись так низко, что волосы закрывали лицо с обеих сторон, и силуэт показался мне просто одной из тёмных прядей, висевшей в тени, на самом краю поля зрения. Я видела тень фотографа и ножку стула, попавшую в угол фото – передо мной была та самая фотография и те самые слова, что Авенданьо прочитал, прежде чем вырвать себе глаз.

Я так много курила, что горло болело. Из-за опьянения моё настроение было приподнятым и трезвым. В комнате висел туманом сизый дым; высокие

стеклянные двери на балкон оставались приоткрыты, воздух был тёплым, снаружи доносились звуки – беседа прохожих, торопливые гудки машин и мопедов, крики продавцов с их тележками на Пасео-Маритимо внизу, у берега – и смешивались с пронзительной трубой Луи Армстронга.

Пластинка закончилась, игла прыгнула в её середину, держатель, благодаря некоему сенсорному механизму, уловил это, поднялся с виниловой поверхности и вернулся на своё место.

Тишина.

Музыка, внешний мир, море, машины, прохожие – всё замолкло, будто никогда не существовало.

Мои глаза забегали внутри глазниц; невзирая на парализующий страх, я напрягала зрение. Свет в помещении замигал, и я почему-то поняла, что он так же мигает по всей Малаге. А может, дело было не в нерешительном и ненадёжном электроснабжении города, просто нечто иное пыталось пробраться к нам. Я не знала.

По капле пришло осознание. Задержав дыхание, я медленно отвела взгляд от фотографии. В пепельнице лежала сигарета с несколькими сантиметрами пепла на конце – из неё к потолку поднималась тонкая струйка сине-белого дыма. За этой дымовой завесой стоял человек – его фигура была размытой, словно я смотрела на него из длиннофокусного объектива с недостаточной глубиной резкости, но он мог оказаться в фокусе в любой миг. Невзирая на водку, сердце заколотилось в груди. Найдя рукой карандаш, я сжала его, как кинжал.

Отодвинувшись от стола, я склонила голову, пытаюсь разглядеть пришельца получше – его образ трепетал и ходил волнами, будто тень марионетки от свечи. Каким-то образом силуэт оставался за дымовой завесой. Мутная, неясная атмосфера, окружавшая его, заполняла всю потемневшую комнату. Над моей головой заблестела вода, полная ила и осадков, а мои волосы расплылись ореолом, будто я была на дне; вода тут же исчезла, но удушье осталось. Я подумала, может быть, что-то горит? Может, я не выключила плиту, когда варила яйца?

Но я не задышалась, а дышала – ни дыма, ни блеска воды. На стене увеличилась тень – силуэт, нет, человек словно стал больше.

Приблизился.

Тут появилось другое движение – его источник был меньше размером и менее расплывчат: Томас стоял в приоткрытой двери балкона, пригнув голову, так что его глаза выглядели одновременно злобными и полуприкрытыми. Кот сделал пять медленных, мерных шагов, ступая в комнату и не сводя немигающих глаз с силуэта. Томас не шипел, не издавал ни звука, но шерсть на покрытой шрамами спине агрессивно топорщилась. Животное встало между тёмным силуэтом и мной.

Некая сила заставляла меня молчать, но благодаря появлению кота мне удалось её стряхнуть:

– Кто... Чего вы хотите? – заговорила я.

Не знаю, чего я ожидала – что он (оно) ответит: «Я из ЦРУ» или «Я – киллер от ANI»? Или исчезнет, как чёрт, в облаке дыма и превратится в самого Видаля?

Или в Клива?

Томас сделал ещё шаг – его лапа зависла, словно нащупывая невидимые потоки воздуха. Наконец он её опустил и улёгся, точно сфинкс, на пол. «Серьёзно? Теперь он решил отдохнуть?!» – подумала я, но тут же поняла, что Томас, наоборот, готовится прыгнуть. Я повернулась к силуэту с карандашом наготове – если кот готов напасть, то я и подавно.

Но тут тьма утратила подобие силуэта и рассеялась. Я засмеялась и выпила ещё водки – чего только не покажется в пьяном одиночестве!

Однако Томас остался в квартире до утра – тихий, неподвижный, настороженный.

В одном из магазинов спорттоваров, где для жаждущих приключений клиентов продавалось снаряжение для охоты и рыбалки, я купила армейский рюкзак. Вернувшись домой и оказавшись у квартиры, я увидела Клаудию, колотившую в дверь с криком:

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Notes

1

Борцы луча либре – мексиканского стиля профессиональной борьбы.

2

Перевод С. В. Шервинского.

3

Пивной (исп.)

4

Асадо – популярное блюдо в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадоре, Парагвае, Перу, Уругвае и Венесуэле. Мясо жарят на гриле или открытом огне.

5

Наша война в небесах (исп.).

6

До 1960 года этот термин обозначал портовых грузчиков, после 1960-го – компании и должностные лица, которые занимаются разгрузкой и погрузкой.

7

Горячо (исп.).

8

Холодно (исп.).

9

Цена, ценность (лат.).

10

Кровотечения в мозг нет (исп.).

11

Архология – архитектурная концепция, учитывающая экологические факторы при проектировании сред обитания человека.

12

Это у меня никто не отнимет (англ.).

Купить: https://tellnovel.me/dzheykobs_dzhon-hornor/zhivoy-roskoshnyy-ad

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)